



Виктор

ПРОНИН

Смерть  
Андрейчева



РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР

Виктор Пронин  
**Смерть Анфертьева**

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Пронин В. А.**

Смерть Анфертьева / В. А. Пронин — «Эксмо», 2017

ISBN 978-5-699-93514-7

Заштатный заводской фотограф Вадим Анфертьев до недавнего времени жил как все. Его устраивали и постоянные упреки жены, мечтающей о красивой жизни, и насмешки сослуживцев, и ни к чему не обязывающие отношения с кассиршей Светой. Но «тихий омут» только кажется тихим. Уязвленное самолюбие толкнуло Анфертьева на преступление: он решился ограбить заводскую кассу, а вину за преступление переложить на своего коллегу. Хладнокровный грабитель и не предполагал, что вместо ожидаемого счастья вместе с богатством на его голову свалятся самые настоящие беды...

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-93514-7

© Пронин В. А., 2017  
© Эксмо, 2017

# Содержание

Глава 1	6
Конец ознакомительного фрагмента.	39

# Виктор Пронин

## Смерть Анфертьева

*Я разлюбил свои желанья,  
Я разлюбил свои мечты,  
Остались мне одни страданья,  
Плоды сердечной пустоты.*  
*А. С. Пушкин*

© Пронин В., 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

## Глава 1

Итак, Анфертьев.

Наша криминальная история произойдет с ним, с Вадимом Кузьмичом Анфертьевым. В самом слове «Вадим» есть нечто притягательное, вам не кажется? Человек с таким именем, вполне возможно, обладает тонким строением души, склонен поговорить о чем-то возвышенном, выходящем за рамки забот о хлебе насущном. Не исключено, что он выписывает какой-нибудь литературный журнал, не прочь посмотреть по телевизору передачу из Эрмитажа и даже, чего не бывает, опрокинув рюмку-вторую, возьмет да и брякнет что-нибудь о неопознанных летающих объектах, о нравственных принципах или о будущем государственном устройстве Фолклендских или Мальвинских островов. А почему бы и нет? Запросто может, уж коли зовут его Вадимом.

Что касается отчества, то и оно вполне соответствует – Кузьмич. Человек этот, как и все мы, интеллигент в первом поколении. Отец его, Кузьма, пахал землю, потом ковал железо, потом где-то сторожил, вахтерил, гардеробничал и наконец помер в доме для престарелых между Кривым Рогом и Желтыми Водами. Сына своего он нарек Вадимом, простодушно полагая, что это название электрической машины. Так тогда было принято. Хотя, откровенно говоря, ему очень нравилось имя Федор. Поэтому наш Вадим, если уж начистоту, где-то в глубинах своих был все-таки Федей.

Теперь фамилия. То, что когда-то усатый Кузьма с завода металлургического оборудования назвал сына ненавистным ему именем, не было случайно. Ну, скажите, разве не слышится в самом этом слове «Анфертьев» что-то нетвердое, поддающееся влиянию толпы? Конечно, человек с такой фамилией почитает за благо примкнуть к большинству, не очень задумываясь над тем, куда это большинство путь держит. Кто-то назвал дочь Индустрией, кто-то окрестил сына Трактором, вот и Кузьма решил не выпячиваться.

Надо сказать, что родительская податливость у сына, у Вадима Кузьмича, приняла иное свойство – какая-то неуверенность чувствовалась в его поступках и даже во взглядах. Но по прошествии времени слабость иногда оборачивалась такой твердостью, что она озадачивала самого Вадима Кузьмича. Например, проучившись пять лет в горном институте, получив специальность маркшейдера, или, как говорили любители красивых образов, став горным штурманом, Вадим Кузьмич вскоре оставил свою профессию, даже не зная толком, чем будет зарабатывать на жизнь. За год с небольшим, который ему пришлось проработать под землей, он понял, что это дело не для него. Горняки оказались людьми чрезвычайно грубыми, стучали кулаками, топали ногами, оскверняли воздух такими словами и оборотами, что вагонетки, груженые углем и породой, самопроизвольно сходили с рельсов, – но дело было не в этом. Не по душе пришлась Анфертьеву работа, только и всего. Но, с другой стороны, есть ли на свете причина более уважительная?

Что можно сказать о внешности Вадима Кузьмича? Был он роста выше среднего, худощав, светловолос, охотно улыбался, не очень задумываясь над тем, уместна ли его улыбка. Кроме того, любил галстуки, и это, пожалуй, была его единственная слабость. Вообще Анфертьев следил за собой. В самом деле, невозможно представить себе человека с хорошим галстуком, но без свежего воротничка, выбритых щек, начищенных туфель. Этот вроде бы необязательный предмет туалета ко многому обязывает, если хотите, полностью берет человека в плен, и вульгарное словечко «удавка» может стать удавкой в весьма широком смысле слова.

Жена. Вполне естественно, что жена у Вадима Кузьмича оказалась женщиной властной, с ярко выраженным волевым началом. Звали Натальей, и ни у кого язык не поворачивался назвать ее Наташей. Да и сама она восприняла бы это как вопиющую фамильярность. Отчество – Михайловна. Наталья Михайловна. Анфертьев любил свою жену за миловидность, за

то, что она давала ему уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, а еще за то, что не оставляла без завтрака, без ужина, без ласк. Была она небольшого роста, полноватой, носила длинные светлые волосы, высокие каблуки, гордилась своим профилем, который и в самом деле был неплох: горделиво вскинута головка, нос с горбинкой, четко очерченный подбородок. Она немного походила на царицу Екатерину, какой ее изображали на монетах. В девичестве она была Воскресухина, но без колебаний приняла фамилию мужа, даже в этом, казалось бы, незначительном обстоятельстве увидев залог прочности семьи. Мы – Анфертьевы. Отныне и навсегда. И весь разговор.

И наконец, дочь. У сильных волевых женщин чаще рождаются дочери, и с этим нам придется смириться, как смирились родители, мечтавшие о сыне. Как ее звали? Зина? Ни в коем случае! В этом имени и Наталья Михайловна, и Вадим Кузьмич видели что-то недостойное. То же самое можно сказать о Зое, Рае, Гале. «В нашем роду таких имен не было. И не будет!» – сказала Наталья Михайловна. И назвала дочь Таней. Татьяной! Здесь при желании можно увидеть изысканность внутреннего мира, одухотворенность, а кроме того, и это самое главное, такие имена встречались в роду Воскресухиных. Дочери было шесть лет, она обожала варенье и сказки про леших, к которым питала непонятное влечение и всегда сочувствовала их одиночеству в темном, непролазном лесу.

Несмотря на мягкость Анфертьева – а он многим казался откровенно слабым, кое-кто даже пытался защищать его от житейских невзгод, против чего Вадим Кузьмич благоразумно не возражал, – податливость его была отнюдь не безгранична. Где-то в непостижимой дали его души, куда чрезвычайно редко удавалось кому-нибудь заглянуть, куда он сам не заглядывал годами, таилось нечто твердое как кремень. И наглец, самонадеянно возомнивший, что он может вить из Анфертьева веревки, бывал несказанно ошарашен, увидев однажды перед собой человека жесткого до безжалостности. Бывали случаи, когда Анфертьев ставил на карту собственную жизнь и, упиваясь опасностью, с радостным безрассудством бросался в схватку, заранее зная, что победы не будет, что все кончится его полнейшим разгромом. Но ему позарез нужно было это поражение, чтобы потом поступать, как заблагорассудится. Но подобное случалось настолько редко, что большинство людей, с которыми он знался, даже не подозревали о маленьком камешке, затаившемся в глубинах Анфертьева, – так может затаиться амфора в синих глубинах Средиземного моря, алмаз в сибирских толщах вечной мерзлоты, опасный преступник среди граждан порядочных и благонадежных. Анфертьев ничуть не печалился, оказываясь в дураках, становясь посмешищем, попадая в положение глупое и оскорбительное. Он знал – до камешка еще далеко. Но уж если кому удавалось добраться до этого кремневого осколка...

А что он устроил в последний день пребывания на шахте! Собственно, этот день поэтому и стал последним, что Анфертьев выдал на-гора такое, что помнят до сих пор, а имя его на Четвертой Пролетарской и поныне окружено легендами и домыслами. Многих забыли на шахте, даже тех, кто проработал здесь десятки лет, кто спустился под землю безусым юнцом, а выбрался наружу парализованным старцем, – их забыли. И тех, кто командовал подземными комплексами, держал в страхе комплексы поверхностные, кто сокращал рекорды и гремел, – забыли. Анфертьева помнили.

За год работы на шахте Анфертьев ни разу не повысил голос, не отдал ни одного приказания, никого не послал по матушке, что уже само по себе ставило его в положение почти безнадежное. К тому же рот он открывал при начальстве только для того, чтобы поздороваться. Правда, дело знал. Что так ли уж редко случается, что работа становится чем-то второстепенным и выполнять ее без притопов и прихлопов, без жалобных стенаний и победных воплей – значит наверняка обречь себя на пренебрежение. Что и случилось с Анфертьевым. И когда однажды начальник шахты, красномордый и громкоголосый, назвал его тюфяком только потому, что сам забыл дать задание, назвал его грязным тюфяком из богадельни только потому,

что знал – это слышит девушка, за которой в то время ухаживал Анфертьев, Вадим Кузьмич в ответ лишь улыбнулся и вздохнул облегченно. Теперь ему было позволено все. Начальник подумал было, что Анфертьев его не понял или не расслышал, и повторил свои слова еще более зычно. Вадим Кузьмич прикрыл глаза и кивнул. Дескать, слышу вас, понимаю.

Когда на следующий день во Дворце культуры руководство из треста при массовом стечении народа под уханье духового оркестра, под хлопанье тяжелых, как совковые лопаты, шахтерских ладоней вручало шахте знамя победителя соцсоревнования, а начальник шахты лобызал прохладное, полыхающее, стекающее сквозь пальцы шелковое полотнище и украдкой вытирал им пот, на трибуну поднялся бледный и торжественный Анфертьев. Вряд ли он говорил больше трех минут, на большее его бы и не хватило, но он говорил в присутствии гостей из треста, говорил прямо в лицо начальнику – тот окаменел, обхватив древко знамени, и стал похож на придорожный памятник. Очень непочтительно говорил Анфертьев о начальнике этой небольшой шахтенки, можно даже утверждать, что он говорил о нем оскорбительно. А потом поблагодарил за внимание и сошел в зал. Его проводили редкими гулками аплодисментами, понимая, что провожают не только с трибуны, с ним прощались. Но с тех пор каждый раз, когда ему бывает туго, в ушах Анфертьева звучат тяжелые аплодисменты, издаваемые негнуцимися шахтерскими ладонями.

– Послушай, ты, тюфяк из богадельни, – начал Анфертьев. – Я знаю, тебе нравится такое обращение, и поэтому решил произнести его здесь... Ты полагаешь, что мат – это главный производственный фактор? – Анфертьев бросил быстрый взгляд на девушку, за которой ухаживал тогда, по которой томился и страдал. На вечере она исполняла обязанности секретаря, записывала слова выступающих. – Ты думаешь, что это знамя облагородило тебя и ты приобщился к чему-то святому? Как маркшейдер заявляю: двенадцать процентов плана – приписка. Могу представить документы. Отойди от знамени, тюфяк! И никогда не приближайся к нему. Кому сказал?!

Начальник как-то боком, скомканно отошел от знамени и, насколько было известно Анфертьеву, действительно больше не приближался к нему на столь близкое расстояние.

– Я подам на тебя в суд! – крикнул он тогда.

– Буду очень благодарен, – поклонился Анфертьев. – Там я смогу говорить более подробно. И не только о приписках.

Не стоит рассказывать, как Анфертьев рванул на туманный остров Сахалин и полтора года промаялся там, убеждая себя в том, что это именно тот остров, о котором он мечтал всю жизнь. Горное образование помогло ему быстро найти себе занятие – уголь, нефть, газ были основными ценностями Острова сокровищ, как называли Сахалин в местной газете. Как-то весной, когда запахло свежей зеленью и вместо опостылевшего снега пошел мелкий теплый дождь, Анфертьев удрал с острова, удрал в двадцать четыре часа, как представитель чужой державы, застигнутый на чем-то преступном.

Не будем перетряхивать и перелистывать трудовую книжку Анфертьева и вчитываться в записи, сделанные в горах Чечено-Ингушетии, в городе Сыктывкаре, не будем задавать вопросов, чтобы узнать, почему его не взяли в горноспасатели, чем он занимался в днепропетровской конторе по выпуску фильмов для Министерства черной металлургии и сколько ему платили на разгрузке вагонов. Не стоит беречь старые раны. Каждая запись, каждая попытка Анфертьева прорваться в другую жизнь – это шрамы на сердце, как после инфарктов.

Оставим прошлое.

Перешагнем через годы, через города и расстояния, усилием воли окажемся в Москве, где-нибудь в районе метро «Электrozаводская» или «Бауманская», проникнем в тот вечер, когда Анфертьев за небольшим письменным столом просматривал фотопленки, Наталья Михайловна готовила нехитрый ужин из картошки и свекольного салата, а их малолетняя дочь

сидела перед телевизором. Проскользнем в тот тихий беззаботный вечер, когда они жили вместе и следователь районной прокуратуры не интересовался еще скромной персоной Вадима Кузьмича, заводского фотографа.

Да, Анфертьев уже несколько лет жил в Москве, работал на заводе по ремонту строительного оборудования. По бухгалтерским, штатным и прочим ведомостям он числился маляром, слесарем, разнорабочим – в зависимости от того, на какую должность позволяли его перевести хитросплетения заводской отчетности. В его трудовую книжку вписывали все новые специальности, обязанности, должности, а он неизменно фотографировал передовиков производства, оформлял стенды, выезжал с заводскими туристами на базы отдыха и чувствовал себя если не счастливым, то вполне удовлетворенным.

Осень. Вечер. Москва.

Танька сидела перед телевизором. Да, именно Танька. Так называли ее родители, скрывая нежность за напускной грубостью, и потом, по характеру, по неиссякающей страсти ко всевозможным проступкам, совершаемым исключительно из хулиганских побуждений, все-таки она была Танькой. Ее невозможно было назвать Танюшей, Танюлечкой или каким-нибудь другим изуродованным именем, призванным показать родительское обожание.

Убедившись, что и на этот раз зайцу удалось избежать волчьих зубов, Танька разжала побелевшие от напряжения пальцы и облегченно откинулась на спинку стула.

– Не съел, – вздохнула она облегченно.

Раздался звонок. Первой к телефону подошла, да что там подошла, подбежала Танька. Встав на цыпочки, она взяла трубку и, замерев от предчувствия чуда, которого ждала от каждого звонка, стука в дверь, от каждого письма, телеграммы, от пьяного соседа или позвякивающего железками сантехника, закричала:

– Алло! Кто это?

– Это говорит Серый Волк, – ответил густой воркующий голос.

– Добрый вечер, Серый Волк! Как поживаешь? – Танька не раздумывая бросилась в шутку, в сказку, в авантюру – называйте как хотите.

– Спасибо, – озадаченно проговорил голос. – А ты?

– И я спасибо! Тебе что-нибудь нужно?

– Я бы хотел поговорить с твоим папой. Можно?

– А почему ты грустный?

– Хм... Не знаю... Устал, наверно.

– А откуда ты звонишь? Из темного леса? – Таньке не хотелось прекращать интересный разговор, и она, увидев, что идет отец, успела задать еще несколько вопросов. – Тебе негде ночевать? За тобой гонятся собаки? Ты хочешь у нас спастись?

Вадим Кузьмич подождал, пока Танька выслушает ответ, взял трубку.

– Это Серый Волк, – сказала Танька. – Ему негде ночевать. Он хочет приехать к нам в гости.

– Гости – это хорошо. Алло! Кто нужен?

– Гражданин Анфертьев? Вас беспокоит дон Педро.

– Кто?! – присел от неожиданности Вадим Кузьмич. – Кто меня беспокоит? Педро?

– Дон Педро, – поправил неизвестный собеседник.

– Слушаю вас, товарищ дон Педро. – Анфертьев робко улыбнулся.

– Нечего меня слушать! – вдруг панибратски сказал новоявленный Педро. – Ты лучше стол накрывай. Гость у тебя сегодня. Гость из Испании. Вовушка. Помнишь такого? Сподгорятинский!

Да, это был Вовушка. Давний, еще с институтских времен, приятель Анфертьева. В свое время вся группа посмеивалась над его нескладностью, колхозными одежками и словечками,

над его салом в тумбочке, скуповатостью, которая – теперь-то это все поняли и устыдились своих насмешек – шла скорее от скудных достатков, а уж никак не от жадности.

Вовушка потешал не только просторными штанами с пузырями на коленях, но еще больше – избраницами. Надо же, Вадим Кузьмич начисто забыл девушек, мелькнувших на его пути, но помнил всех, за которыми безуспешно и безутешно ухаживал Вовушка. Девушки эти были под стать ему самому – в пиджаках с ватными плечиками, в туфлях с тяжелыми каблукками, в мелких бараньих завитушках и с такой обжигающе красной помадой, которую можно встретить разве что на огнетушителях да пожарных машинах. Они не только пренебрегали Вовушкиными страданиями, но и сами не прочь были присоединиться к шуточкам над ним, над юным и влюбленным Вовушкой. Видно, имели высокое о себе понимание. Судьба жестоко отомстила этим недалеким существам. В наши дни они являют собой пожилых тетю, грузных и торопящихся, которые нигде не появляются без авосек, набитых подтаивающей рыбой, подвявшими овощами, подтекающими молочными пакетами. По части моды они еще в институтские времена наверстали упущенное, догнали и даже обогнали остальное человечество, но, право, лучше бы этого не делали.

А Вовушка, Вовушка и ныне надевает иногда купленные после четвертого курса шорты, а это, согласитесь, говорит о многом. Например, о том, что шорты в те годы шили ничуть не хуже, нежели сейчас, и надеть их не стыдно даже такому человеку, как Вовушка, которого можно встретить на иных побережьях земного шара. А ну-ка припомните, а ну-ка сопоставьте! Кто из вас может спокойно, не рискуя антикварной вещью, надеть нечто купленное лет двадцать назад? А кто осмелится надеть шорты на пятом десятке? Причем не в Париже и не в Лусаке, а здесь, у нас, в Малаховке или в Бескудникове? А Вовушка нисколько не стыдится своей фигуры, поскольку ею больше пристало гордиться. В институте смеялись над его наивностью, робостью в общении с незнакомыми людьми – смехачи могут продолжить свои упражнения. Вовушка сохранил эти качества. Но теперь уже никто не потешается над ним – осмеянные когда-то недостатки ныне подтверждают его неувядаемость.

О, эти блестящие, остроумные, снисходительные, пользовавшиеся успехом у девушек всех курсов, эти красавцы, вроде Володи Фетисова, Пети Лозового или Марика Невграшкина... Найдите их сегодня, ребята, найдите. И вы увидите смирившихся с собственной незавидной участью любителей выпить и потрепаться о жизненных невзгодах, плохом начальнике, малой зарплате, женах, которые их не понимают, не любят, не балуют, вы увидите людей в замусоленных галстуках, со вчерашней щетиной на немолодых уже щеках. Они обрадуются вам, потащат за угол, где в соседнем винном магазине есть у каждого знакомая продавщица – она дает иногда бутылку в долг, а они улыбаются ей, целуют ручку и делают глазки. А что они еще могут, что? На что у них еще есть деньги и силы? Ладно, не будем. Но тлеют, теплятся в них воспоминания о славных временах, когда они были первыми, когда жестом могли поставить на место кого угодно, когда вся жизнь была впереди. И, черт возьми, до чего прекрасная жизнь была у них впереди!

А Вовушка, о, Вовушка! Получив направление в захудалое строительное управление, он начал с того, что забраковал проект какого-то невероятно дорогого канализационного путепровода и предложил изменить трассу. Однако начальник, не дослушав Вовушку, выгнал его из кабинета. Дескать, молод еще учить и сомневаться в старших – он был одним из авторов проекта. Вовушка извинился и неуверенно, бочком протиснулся в кабинет начальника повыше. А тот не стал с ним разговаривать на том основании, что есть начальник пониже. Вовушка опять извинился, причем не лукавя, искренне извинился за доставленное беспокойство и, пятясь, вышел из кабинета. Зажав под мышкой свою, еще институтскую, клеенчатую папочку, он направился к управляющему трестом, полдня просидел в приемной, а когда секретарша, потеряв бдительность, вышла по своим делам, проскользнул в кабинет и, запинаясь,

комкая слова и папку, сказал, что у него имеются кое-какие соображения на предмет сохранения государственных средств.

– Что же вы предлагаете мне сэкономить? – спросил управляющий, маясь от бесконечных забот.

– Миллион, – тихо ответил Вовушка.

– Молодой человек, – управляющий с трудом сосредоточился на посетителе, отметив его студенческие портки, тощую, загорелую на строительных площадках шею, скользнул взглядом по клеенчатой папке, из которой торчали нитки полотняной основы, и безутешно вздохнул. – Молодой человек, разрешаете дать вам по шее, если все окажется липой?

– Конечно! – радостно согласился Вовушка. – Все очень просто. Нам незачем рыть трехкилометровую траншею глубиной пять метров, да еще по жилому району. Мы на одних выселениях разоримся. Давайте сместим трассу на полкилометра в сторону и пустим трубу по естественному оврагу.

Управляющий посмотрел на схему, закрыл на некоторое время глаза, а когда открыл, они уже не были такими безутешными.

– Хотите дать мне по шее? – спросил он у Вовушки.

– Я бы с удовольствием дал под зад начальнику управления.

– А это уже сделаю я, – ответил управляющий. – И тоже с удовольствием.

Через три года, всего через три года президент республики подписал указ о присвоении Вовушке звания заслуженного рационализатора – не только за этот проект, но и за десятки других. Вот так. Ему дали большую квартиру вне очереди, он женился, родил сына, потом дочь, в промежутке придумал какой-то нехитрый геодезический прибор на основе лазера, защитил кандидатскую диссертацию, бросил производство, перешел в институт, стал доцентом и уехал в Пакистан строить завод. Анфертьев полагал, что Вовушка до сих пор поднимает металлургию этого мусульманского государства, а тут вдруг оказывается, что он час назад прилетел из Испании.

– Дела, – протянул Вадим Кузьмич озадаченно. – Это не Вовушка, а конь мадьярский.

– Конь? – удивилась Танька. – А мне он сказал, что Волк. Серый Волк.

– Приедет – разберемся! – И Вадим Кузьмич направился на кухню. – Наталья! Хошь смейся, хошь плачь – едет гость.

– Что еще за гость? – без всякого душевного подъема спросила Наталья Михайловна. И Вадим Кузьмич понял, что совершил ошибку. Давно замечено, что у женщины на кухне меняется характер, события мирового значения, общегосударственного, личного на кухне воспринимаются ею не так, как, например, в комнате или на лестничной площадке. Если открыто, то на кухне она попросту разочарована в муже, в своей работе, соседях и даже сама себе кажется недостаточно красивой. Возможно, есть женщины, которые на кухне счастливы, но Наталья Михайловна к ним не относилась. На кухне она страдала и не скрывала этого.

– Вовушка! – воскликнул Вадим Кузьмич, пытаясь исправить промах. – Помнишь, он был у нас лет пять назад? Загорелый, лысый, тощий и ходит боком, помнишь? Сподгорятинский!

– А, – протянула Наталья Михайловна, отворачиваясь к сковородке. – Тот самый, который уговаривал нас не разводиться? Притом, что мы и не собирались, как мне помнится.

– Но он уже едет! – вскричал Вадим Кузьмич. – Едет!

– А я что? – Наталья Михайловна с недоумением посмотрела на мужа. – Разве я возражаю? Пусть едет. Накормим, уложим, переспит. Картошка есть.

– Он ненадолго, – заверил Вадим Кузьмич. – Даже если мы оба станем перед ним на колени и будем умолять задержаться.

– Надеюсь, до этого не дойдет, – Наталья Михайловна горько усмехнулась, хотя, в общем-то, у нее не было основания для подобной горечи. Но разговор происходил на кухне, и этим все

объяснялось. Движением головы она откинула назад обильные крашенные волосы и вздохнула. С такими волосами и где? – у плиты.

– Вовушка едет из Испании, – маялся за ее спиной Вадим Кузьмич. – Ему нужно завтра зайти в управление, там, оказывается...

– Откуда он едет? – звонко спросила Наталья Михайловна.

– Из этой... Как ее... Из Италии. Хотя нет, из Испании.

– А что он там делал? – с легкой скорбью спросила Наталья Михайловна, присаживаясь на расшатанную табуретку. Она вдруг остро ощутила неуютность своей маленькой, скромненькой, бедненькой кухоньки, увидела себя в замусоленном переднике и с рукавами, перемазанными землей, увидела картошку, салат из свеклы и лука – ужин, которому она отдала целый час своей единственной жизни. Все это вступило в унижительное противоречие с одним только словом «Испания». Перед ее мысленным взором промелькнуло побережье синего моря, беззаботные люди в ярких купальниках, старинные замки, к которым мчались на перламутровых машинах веселые женщины в вечерних нарядах и обходительные мужчины, промелькнула залитая разноцветными лучами сцена, красавица в платье с длинным подолом, красавец в распахнутой сорочке и с обнаженной саблей в руке, брызжущий кровью бык, счастливое лицо тореадора, ликующие толпы, долговязый всадник в латах и с копьём наперевес... И все это на фоне простоватой Вовушкиной физиономии.

– Он звонил из автомата, там народ собрался, очередь... Уточнил наш адрес и повесил трубку, – виновато проговорил Вадим Кузьмич. – Не мог же я сказать, что...

– А где, говоришь, он был до этого? – спросила Наталья Михайловна, не отрывая глаз от картофельных очисток.

– В Пакистане.

– Да-да... Я вспомнила.

О, сколько чувств увидел Вадим Кузьмич на лице жены! Но больше всего его поразила уязвленность, явственно проступившая на знакомых чертах. Наталья Михайловна тяжело переносила долетавшие до нее вести о том, кто из знакомых каких побед добился. А к победам она относилась ту же поездку в Испанию, новую должность, хрустальную вазу, отдых у моря, билет на выступление замечательного фокусника Акопяна, приложение к журналу «Огонек»...

Уронив белое лицо с гордым профилем в перемазанные землей ладони, Наталья Михайловна некоторое время сидела без движения. Вадим Кузьмич поймал себя на том, что не испытывает к жене ни малейшей жалости. Удовлетворение – вот чего больше всего было сейчас в нем. Он не стал напоминать Наталье Михайловне о том, как стремилась она уехать из шахтерского поселка, – до сих пор перед его глазами стояло ее молодое, залитое слезами лицо, и поныне слышал он горячий шепот: «Вадик, уедем, уедем, уедем! Не могу! И ты здесь пропадешь! Уедем, Вадик, и будем жить среди нормальных людей! Я права, Вадик, ты увидишь, я права!»

Понимая, что самое лучшее – погладить жену по волосам, коснуться ее плеча, Вадим Кузьмич усмехнулся, осознав, что он этого не сделает. Наталья Михайловна подняла голову, ненавидяще посмотрела в темное окно...

– Вадим, – произнесла она надтреснутым голосом, будто только что узнала о несчастье с близким человеком, – не кажется ли тебе, что наша жизнь остановилась? Я не говорю, что она кончилась, нет, но она остановилась. Как заезженная пластинка, которая вращается по одной канавке и посылает в пространство одни и те же звуки, причем довольно невеселые звуки.

– Ты ошибаешься, дорогая, – без убеждения сказал Вадим Кузьмич. – Это не так.

– Что нас ждет хорошего, Вадим? Что нас ждет хорошего в этом году, на следующий год? Что хорошего ждет нас в этой пятилетке?

– О! – воскликнул Вадим Кузьмич, воспрянув. – В этой пятилетке нас ждут большие радости! Мы вышли на первое место по производству чугуна, мы построим более пятисот миллионов квадратных метров жилья! Мы...

– Заткнись. Зачем мы живем, Вадим?

– Могу сказать, для чего жить не стоит.

– Скажи.

– Я думаю, не стоит жить ради того, чтобы подсчитывать чужие успехи. Тем более что от собственных успехов мы в свое время отказались сами.

– Конечно, я знала, что когда-нибудь ты скажешь это, не удержишься. Но ты не прав. Отказались мы не от успехов. Мы отказались от трехсменной твоей работы в шахте, от грязи и копоти, от постоянной ругани, которой тебя осыпали все, от начальника шахты до последнего чертежника. И если мы уж скатились на этот разговор, могу напомнить, что в то время тебе было двадцать пять лет. Впрочем, извини, тогда тебе не было двадцати пяти. А сейчас тебе сорок. И ты через пятнадцать лет решил мне напомнить, что...

Из комнаты вышла Танька, сразу поняла, что разговор у родителей тяжелый, и тут же решила сломать его:

– Папа, а тот дядя, который сказал, что он Волк, он придет к нам?

– Он уже едет.

– Наверное, надо убрать?

– Не мешало бы.

– Тогда я начну с большой комнаты.

– Скажи, Танька, – обратилась Наталья Михайловна к дочери, – что тебя больше всего радует?

– Сказки. А тебя?

– Меня тоже, – Наталья Михайловна невесело усмехнулась.

– Папа, а тот дядя, который звонил... У него большие зубы?

– Зубы? Нет, он не из зубастых. У него есть кое-что другое... Он знает, что нужно делать, и делает это. Несмотря ни на что.

– А уши у него мохнатые? – Танька явно спасала положение.

– Приедет – посмотрим. Может, и заросли уже. А пока – уборка! Объявляется часовая готовность. – Вадим Кузьмич хлопнул в ладоши. – Засаека время. Через час в эту дверь войдет человек из Испании. Вы, девки, наводите порядок, не мешало бы посуду помыть, подмести, тряпки по углам рассовать... А я бегу в магазин.

– Купи колбасы, – напомнила Наталья Михайловна. – Может, яйца увидишь... Что еще... Да, хлеба возьми.

Сбегая вниз по лестнице, Вадим Кузьмич на ходу сунул авоську в карман, застегнул плащ, поднял воротник.

Шел мелкий дождь, размокшие листья срывались с деревьев и, не кружась, тяжело падали на асфальт. Где-то в просвете между домами полыхала факелом буква М – опознавательный знак метро, с влажным шелестом проносились машины, торопились прохожие, прикрывшись от дождя перепончатыми зонтами, словно бы сделанными из крыльев каких-то ящеров. Вот, оказывается, почему они вымерли, вот почему исчезли – на зонты пошли.

Вадим Кузьмич любил такую погоду, и Наталья Михайловна знала, что на рынок, в магазин, в прачечную Вадима Кузьмича лучше посылать в дождь – соберется в две минуты. Наверно, все-таки не случайно стал Анфертьев фотографом, покинув обеспеченную гавань родной специальности. Его сокурсники уже разъезжали на своих машинах – Вадим Кузьмич не завидовал им. Фотографией он занялся еще в школе, и до сих пор она не опротивела ему, хотя это случается со многими. Он любил снимать туманные лесные опушки, городскую осень, мосты над Москвой-рекой. На его фотографиях можно было увидеть и высотную громаду над

площадь Восстания, и переплетения рельсов Курского вокзала, крутые переулки Сретенки, частокол небоскребов Калининского проспекта. Скорее всего он был пейзажистом, этот Вадим Кузьмич Анфертьев, хотя далеко не всегда печатал отснятое – кому они нужны, эти снимки? Журналы и газеты ими переполнены, телевидение доставляет их прямо в дом, фотоальбомы лучших мастеров к вашим услугам. Хотите – Копосов, Шерстенников, хотите – Боловин, Чурюканов, Антонец... Анфертьев просто любил снимать и радовался, увидев то, мимо чего остальное человечество пронеслось запыхавшейся толпой марафонцев. И даже когда не было под рукой этой игрушки, машинки, а теперь еще и кормилицы – фотокамеры, Анфертьев невольно гранил мир на кадры. Нередко, выходя в такую вот погоду, Анфертьев лишь кричал, сокрушаясь, что не может увековечить на все будущие времена двух ворон, хрипло лающих на столбе, свет фонаря в мокрой листве или разноцветный пасьянс окон высотного дома. Но, досадливо щелкнув пальцами, он как бы снимал эти картинку, все-таки снимал и навсегда запоминал. Зачастую Анфертьеву и не требовался аппарат, он сам превратился в ходячую камеру-обскуру, известную, между прочим, еще достославному Ибн-аль-Хайтаму, жившему никак не менее тысячи лет назад. Казалось бы, у Вадима Кузьмича постоянно должно быть хорошее настроение, ан нет! Как-то уж очень близко к сердцу он принимал и хмурость жены, и недовольство директора товарища Подчуфарина, и грубость продавцов выбивала Анфертьева из душевного благорасположения. Он понимал, что в самом деле трудно улаживать рыскающих между магазинами домохозяек или сбежавших с работы чиновников, научных работников, канцеляристов, раздраженных друг другом, очередями и теми же продавцами. Возможно, об этом и не стоило говорить, потому что всем нам бывает паршиво, когда нас облает туповатая баба в замусоленном халате, но Анфертьеву почему-то доставалось чаще других. Возвращаясь домой уже в полной темноте, вдыхая ночной воздух, настоящий на сырой коре деревьев, на желтой горечи листьев, на бензиновых отходах машин, он был почти горд собой – купив водки, хлеба и колбасы, Анфертьев умудрился не проронить ни слова. Правда, услышал все-таки брошенное ему вслед: «Ходят тут, как воды в рот набрали!», но сегодня это лишь позабавило его.

Дома Анфертьев застал окончание уборки. Посуда была вымыта, раковина продраена какими-то порошками с романтическими названиями, Танька стаскивала со всей квартиры в свой угол бантики, карандаши, куски пластилина с завязшими в них пуговицами, головы и туловища кукол, рассыпавшиеся от безжалостного чтения книжки. Стол в комнате светился льняной скатертью с квадратами нетронутых складок, на Наталье Михайловне красовалось тесноватое платье из панбархата цвета хаки, и даже кольцо, ребята, она надела золотое обручальное кольцо, а на Таньку – новые тапочки. Надколотый кувшин исчез с полки, роскошный альбом вынут из ряда книг и поставлен лицом к Вовушке, опять для Вовушки в передней стояли расшитые комнатные туфли, за которыми битых три часа, самых лучших в ее жизни три часа Наталья Михайловна простояла в очереди. На креслах, которым Вадим Кузьмич самолично дважды менял обшивку, лежали накидки – вдруг Вовушка пожелает сесть, а если не сядет, тоже не беда, кресла будут радовать Вовушкин взор. И он подумает, он вынужден будет подумать, он просто никуда не денется от мысли, что Вадька Анфертьев неплохо, черт его подери, устроился в жизни! У него, у этого подонка Анфертьева, жена с монетным профилем, прелестный ребенок, отличная квартира из двух комнат, с прихожей в два квадратных метра, кухней, отдельными удобствами, окнами, с потолком и полом, у него кресла с алыми накидками, изготовленными народными мастерами Украины, альбом с сюрреалистической обложкой, у него комнатные тапки, расшитые цветными нитками в дружественной Индии, а для гостей у него всегда найдется бутылка водки, кусок колбасы и банка сайры, которая недавно и, кажется, навсегда попала в разряд изысканнейших блюд. «О! – подумает Вовушка. – Анфертьев всегда был парень не промах, и уж если кому завидовать в жизни, то, конечно, этому пройдохе Анфертьеву, мать его за ногу!»

– Вадим! Ты что там копаешься! – прикрикнула Наталья Михайловна на ходу, но все видя, все чувствуя кончиками пальцев, кожей, волосами, ушами и пятками, словно любая часть квартиры, каждая тарелка, ножка стула, тряпка и подоконник, унитаз и ситечко для чая невидимыми проводами, нервами, жилами соединялись с телом Натальи Михайловны, с ее мозгом и сердцем.

Так вот, бросила Наталья Михайловна эти слова, как вишневые косточки из окна поезда, и умчалась дальше, нанося последние мазки. Цветок повернут бутоном к Вовушке, Танька расчесана так, чтобы лучший ее локон смотрел прямо Вовушке в глаза, штора отдернута ровно настолько, чтобы была видна занавеска с золотой ниткой и кактус гимнокалициум балдианум, который Анфертьев называл не иначе, как турбиникартус лофофороидес, на проигрывателе поставлена заморская, если не заокеанская, пластинка, хрустальный графин, свадебный подарок соседа, который тот по пьянке спер у собственной жены, вот уже столько лет не выдавший света дня, вынут, обласкан взглядом, осласливлен нежными прикосновениями пальцев и воздушными касаниями махрового полотенца, поставлен на телевизор, как бы между прочим, как бы всем надоевшая вещь, но абажур повернут, и щель, прожженная лампой, направлена как раз на графин, чтобы блики в нем играли и радовали Вовушкину душу, Вовушкин взор, чтобы Вовушка в конце концов сказал себе: «Да, этот проныра Анфертьев всех нас обскакал, пока мы, как кроты, под землей рылись!»

– Вадим! Ты оделся! – Это был не вопрос. Это было приказание.

– Да я вроде ничего...

– Надень другую рубашку. Красную.

– Почему красную?

– Потому! И штаны смени. Послушай! – вдруг произнесла Наталья Михайловна каким-то новым озаренным тоном. – Ведь этот Вовушка... состоятельный мужик, а?

– Нет, – сказал Вадим Кузьмич. – Ни в коем случае.

– И будет лето, отпуск, повезем Таньку на море... Все рядом. Надо только расколоть его на триста рублей.

– Нет, – сказал Вадим Кузьмич тверже прежнего.

– Но почему, Вадим? – жарко зашептала Наталья Михайловна. – Для него эти деньги – раз плюнуть.

– Именно поэтому.

– Ну, как знаешь, – оскорбленно отступила Наталья Михайловна. – Если тебе известны другие источники – пожалуйста. Скажите, сколько в нас гордости! Мы, оказывается, еще о достоинстве подумываем. Надо же!

– Какова? – Танька отчаянно крутнулась на одной ноге. – Ну? Что же ты молчишь? Какова?

– Да ты просто красавица! – воскликнул Анфертьев. – Если бы я встретил тебя на улице, то ни за что не узнал бы! Я бы только подумал: интересно, чья это девочка и где ей покупали наряды? И еще я бы подумал: вот счастливые папа и мама, у которых есть такая девочка!

– Вот такушки! – Получив желаемое, Танька умчалась на кухню протирать газовую плитку, чтобы она сверкала белоснежно, и нравилась бы Вовушке, и настраивала его на мысли чистые и светлые.

В общей суете Вадим Кузьмич нечаянно столкнулся со взглядом жены. И поразился – сколько было в Наталье Михайловне ожидания, стремления поразить гостя, предстать перед ним в наивозможно лучшем свете. Вадима Кузьмича потрясла неистовость, с которой его жена прятала их неудачи, поражения, весь невысокий пошиб их бытия. Наталья Михайловна прятала от чужих глаз бездарность мужа, его малую зарплату, позорную должность.

А Вовушка? Чем взял? Ведь он в самом деле был робок и беспомощен! Какая жизненная сила дремала в нем? Что движет им сейчас? Тщеславие? Жадность? Любопытство?

Когда он внедрил свой лазерный излучатель, то почти год не ночевал дома, меняя самолеты, поезда, машины, носился из конца в конец по всей стране – доказывая пригодность прибора для любого климата, любого вида строительных работ. Как и прежде, он бледнел перед каждой дверью, обитой черным, это в нем осталось, но он распахивал эту дверь и входил. И хотя голос его не всегда был тверд, отстаивал все, что считал нужным отстаивать.

Анфертьев уже знал невероятную историю о том, как Вовушка, не дожидаясь промышленного внедрения своего изобретения, однажды, очарованный потрясающим выступлением знаменитой певицы, смущаясь и хамя, просочился сквозь кордоны поклонников и телохранителей, явился за кулисы и предложил Несравненной Алле осветить ее выступление лазерными плоскостями, сверкающими конусами, мерцающими цилиндрами.

Алла соблазнилась, и он ее осветил.

Сказать, что на очередном выступлении публика была потрясена, – это ничего не сказать. Зрители топали ногами, кричали дикими голосами, издавая звуки, по силе и красоте ничуть не уступающие их кумиру. А свет, что творилось со светом! Радужные лучи окутывали Бесподобную Аллу сверкающим покрывалом, потом вдруг вырастали вокруг нее стеной северного сияния, в нарушение всех законов физики и здравого смысла начинали струиться в стороны от божественной головки. Все решили, что это заслуга Аллы, что это под действием ее биологических и музыкальных ритмов пространство изменило свои свойства и принялось сворачиваться в световые кульки, сжиматься в плоскости, скручиваться в рулоны. А время! Оно исчезло! И мир исчез! И ничего во Вселенной не осталось, кроме Олимпийского зала на проспекте Мира, кроме Аллы и смятого, скомканного, обесчещенного ею пространства. Никто из тысяч зрителей не мог поручиться, что, выйдя из зала, он не окажется на пляжах Копакабаны, в лунном кратере Ломоносова или в собственном детстве. Автор присутствовал на этом концерте и может подтвердить – истинно все так и было.

А Вовушка сидел в укромном уголке и настраивал сумасшедший свой прибор, меняя силу лазерного луча, его направление и гибкость. Он подставлял под него стеклянные шарики, колбочки, трубочки, которые выменял в Пакистане у мусульманских колдунов за блок сигарет. А когда в ход пошли выращенные из мумие и стирального порошка кристаллы, когда тонкий и злой, как цыганская игла, луч света вонзился в желтовато-зеленые додекаэдры и трапецеэдры, дрогнула сама Несравненная Алла и во всеуслышание на весь зал, на всю Москву и на весь мир объявила, что следующую песню она исполнит в честь ее нового друга из Днепропетровска.

Вовушка улыбнулся и в знак благодарности поставил под свой адский луч такой ромбо-тетраэдр, выращенный из бельевой синьки и лимонного сока, с такой силой пронзил его пьезо-электрической индикатриссой, а его новая подружка Аллочка выдала такой шлягер, что религиозные чувства, охватившие публику, вырвались из Олимпийского дворца, прокатились по Москве, и волна их до сих пор невидимым валом идет по сибирским просторам нашей необъятной родины. Правда, не обошлось и без накладок – весь прилегающий район Москвы на несколько часов остался без электричества, производственные планы предприятий оказались сорванными и отставание удалось наверстать только благодаря Всесоюзному субботнику. Что делать, искусство требует жертв.

Ну вот, подготовка к приему гостя в доме Анфертьевых закончилась, и теперь можно остановить у подъезда такси и выпустить из машины высокого сутуловатого человека с большим чемоданом и длинным предметом, обернутым бумажной лентой. Человек постоял с минуту, посмотрел, как выехала со двора машина, мелькнув на прощание красными тормозными огнями. После этого он вошел в подъезд и, затаенно улыбаясь, поднялся на пятый этаж.

Да, это был Вовушка Сподгорятинский, несколько часов назад покинувший солнечную Испанию, с ее замками, женщинами, быками, кабачками, блюдами и песетами. Охваченный светлой грустью расставания, он пронесся над всей Европой и приземлился в Шереметьеве.

Когда в прихожей прозвучал звонок, первой к двери подбежала Танька и бесстрашно ее открыла. Да, бесстрашно, потому что, не забывайте, ей было шесть лет и она ждала Серого Волка. Волк оказался смущенным и озадаченным.

– Ой! – сказал он. – А ты кто?

– Я – Таня. Я здесь живу. Это ты звонил по телефону?

– Звонил, – виновато сказал Вовушка, опуская чемодан и устанавливая в угол длинный предмет. – А где твои папа и мама?

– Наводят порядок. Они всегда наводят порядок, когда ждут гостей.

Вовушка засмеялся, и в это время из комнаты вышел Вадим Кузьмич. Увидев старого приятеля, он протянул навстречу руки, чувствуя, как все гнетущее уходит, теряя всякое значение, и душа его освобождается для доброты и доверчивости. К нему приехал Вовушка, они выпьют, поболтают о старых добрых временах, когда у них не было ни проблем, ни болезней и все слова имели только то значение, которое приводилось в словарях. Мир был прост и благороден, а поджидавшее их прекрасное будущее позволяло быть снисходительными и великодушными. Правда, с тех пор многое изменилось, как, впрочем, и у всех нас. Прекрасное будущее подстерегало их за каждым углом, в каждом женском имени, а в каждой бутылке вина сидел джинн – посланник прекрасного будущего, светофоры мигали из будущего, в будущее влекли трамвайные звонки, раскаты грома, полночный шепот, и все объявления на столбах, заборах, стеклах троллейбусов, надписи в подъездах рассказывали о нем и зазывали, как уполномоченные по найму, – так вот это прекрасное будущее неожиданно оказалось где-то далеко позади и все больше отдалялось, а впереди маячило и раскачивалось нечто тревожное, сырое, знобящее. О, эти проявившиеся на пятом десятке мысли, которые не хочется додумывать до конца, да и не у всех хватает духу представить, осознать и смириться с тем, что тебя ожидает. И надо иметь кое-что за душой, чтобы оставаться невозмутимым, когда речь заходит о зарплате, должности, ушедших годах, о молодости, промелькнувшей, как яркая картинка за окном поезда между двумя соседними тоннелями. Неплохо сказано, да? Нечто подобное можно увидеть, подъезжая к Сочи, к Уралу, путешествуя по Байкало-Амурской магистрали или добираясь по узкоколейке из Холмска в Южно-Сахалинск. Господи, да мало ли на земле дырок, которые наводят нас на печальные раздумья!

Не будем корить за унижительную показуху очаровательную Наталью Михайловну, которая, сжав душу свою и гордыню, с улыбкой проходила мимо ковров ручной работы, мимо сослуживцев в дубленках, мимо задниц в джинсах. Какие невероятные перегрузки испытывала она годами! И как жестоко было бы требовать от Натальи Михайловны спокойной уверенности в себе, если ее радовала даже жалкая удача – опередив других, плюхнуться на свободное место в автобусе и, отвернувшись к окну, насладиться видом людей, оставшихся на остановке. Простим ее и первой дадим слово.

– О! Да ты совсем не изменился! – воскликнула Наталья Михайловна, целуя гостя в щеку.

– Что ты! – зарделся Вовушка. – Я совсем облысел!

– Лысина тебя красит, – заметил Вадим Кузьмич, обнимая старого друга. – Просто она украсила тебя раньше других.

– Ну, спасибо, ну, утешил! – совсем застенялся Вовушка.

– А что дарят в Испании маленьким детям? – неожиданно прозвучал вопрос Таньки.

– Танька! Как тебе не стыдно! – всплеснула ладошками Наталья Михайловна. – А ну марш в свою комнату!

– Зачем? Она задала очень своевременный вопрос. Ты любишь рисовать? – Вовушка присел перед девочкой и заглянул в ее смятенные собственной решимостью глаза.

– Да. Люблю.

– И что ты рисуешь?

– Леших.

- Почему леших?
- Потому что они водятся в наших лесах.
- А что еще водится в лесах?
- Кикиморы болотные, василиски поганые, нетопыри... Много чего водится...
- И ты их всех нарисовала?
- Всех, – твердо сказала Танька.

Водрузив на стул свой чемодан, Вовушка принялся отстегивать ремни, щелкать замками, скрежетать «молниями» и, наконец откинув верх, сделанный из желтой тисненой кожи, пахнущий настоящей, почти забытой кожей, показал его волшебное нутро. Прихожая сразу наполнилась запахами диковинных покупок, щедрых подарков, упоительными запахами, на которых настояны дальние страны, города и универмаги.

Подмигнув Таньке, Вовушка запустил загоревшую в пакистанских пустынях и на испанских побережьях руку под будоражащие свертки, волнующие пакеты, похрустывающие упаковки и вынул голубую, в радужных надписях и разводах коробку с фломастерами:

- Держи!
- Спасибо, – с достоинством произнесла Танька и тут же попыталась ногтем скovyрнуть клейкую ленту.

– Что ты делаешь! – ужаснулась Наталья Михайловна. – Пусть целая побудет!

– Пока не высохнут? – спросил Танька.

– Все правильно, – Вовушка сам содрал ленту с коробки. – Она нарисует самого лучшего лешего подмосковных лесов и подарит мне. И когда приедет ко мне в гости, увидит над столом портрет ее знакомого лешего. И ему будет приятно, и мне, и Тане. Договорились?

– Заметано! – деловито сказала Танька и умчалась рисовать.

– А это тебе, – Вовушка извлек из таинственных глубин чемодана... Да, это было агатовое ожерелье. В свете тусклой электрической лампочки, среди потертых обоев, на фоне растерянной физиономии Натальи Михайловны в каждом камне вспыхнул живой огонек.

– Мне?! – задохнулась в благодарном протесте Наталья Михайловна. – Ты с ума сошел! Нет, Вовушка, ты сошел с ума! Я не могу взять такой подарок, – продолжала она, прикладывая ожерелье к груди. – Он слишком дорог. Сколько он стоит?

– Фу, какой плохой вопрос! – фыркнул Вовушка. – Ты надевай и зови за стол. Последний раз я ел часов пять назад в солнечной Испании. Между прочим, на плацца Майор.

– Там что, исключительно одни майоры разгуливают? – спросил Вадим Кузьмич.

– Вадька, ты очень глупый и невежественный человек. Плацца Майор означает Главная площадь. Центральная площадь, если уж по-нашему. Вот, держи, – Вовушка нащупал в чемодане еще один предмет – довольно вместительную, но какую-то мягкую, будто жеваную бутылку.

– Какая прелесть! – воскликнула Наталья Михайловна. – Вадим, ты только посмотри! Умеют люди жить! Нет, это прелесть! Просто прелесть!

Вадим Кузьмич взял бутылку, повертел в руках, вчитался в мелкие буквочки.

– Восемнадцать градусов, – сказал он. – Вроде «Солнцедара». Сойдет.

В безудержных восторгах жены Вадиму Кузьмичу почудилось что-то уничижительное. Но, увидев сверкающие глаза Натальи Михайловны, он подумал, что нечасто они бывают такими. Потом задержался взглядом на агатах... И простил жену. Но с радостными воплями у нее явный перебор, решил Вадим Кузьмич. Она испускает такие фонтаны счастья, будто боится показаться неблагодарной.

Направляясь в комнату, Вадим Кузьмич неловко задел длинный предмет, который Вовушка впопыхах поставил у вешалки. Предмет с грохотом рухнул на пол.

– Боже! – радостно испугалась Наталья Михайловна. – Что это?

– Меч, – смущенно засмеялся Вовушка. – Не удержался и в Толедо на толчке купил. – Он отмотал бумажную ленту, и взорам изумленных Анфертьевых предстал полутораметровый меч с алой рукоятью и кованым эфесом. Лезвие меча было украшено фигурами чудищ, крылатых людей и каких-то зубастых растений.

– Вовушка, – озадаченно проговорила Наталья Михайловна, – это... Зачем он тебе?

– А так! – шало рассмеялся Вовушка. – Половину всех своих песет отдал за этот меч. Дрогнула душа, не смог пройти мимо.

– Но ведь... милиция отнимет, – Наталья Михайловна, выбитая из привычных представлений о том, что следует покупать за границей, мучительно искала верный тон. Она не могла понять этой покупки, не могла допустить, что человек, попавший в страну, о которой можно только мечтать, отваливает кучу денег за двухкилограммовую железяку... Наталья Михайловна почувствовала себя униженной. А что, так ли уж редко нас уязвляют разорительные, с нашей точки зрения, покупки, поступки, поездки, подарки ближних? Вот и Наталья Михайловна, сама того не замечая, все увиденное и услышанное невольно примеряла к себе, словно бы все в мире делалось только для того, чтобы узнать, как она к этому отнесется. – Это ведь холодное оружие, Вовушка! – Она решила, что искренняя озабоченность будет вполне уместна.

– А! – Вовушка беззаботно махнул рукой. – Преследуется не владение холодным оружием, а ношение. Я постараюсь не брать его с собой на работу. Разве уж в крайнем случае, когда все другие доводы будут исчерпаны.

– Как же тебя таможенники пропустили?

– Они спрашивают, что это, дескать, такое у вас, молодой человек, под мышкой? Боковой меч, говорю, осколок Средневековья. Они в хохот. А я уже в общем зале. Представляете, пройдет десять, двадцать, сто лет, и все эти годы меч будет висеть на почетном месте, и мои внуки скажут: «Этот меч наш дед привез в прошлом веке из Испании!» Как, звучит?

– Нет, Вовушка, ты молодец! – воскликнул Вадим Кузьмич. – Честно говорю – завидую. Я бы не решился. – Он подержал меч на весу, подышал на лезвие, смахнул набежавшее облачко. Взяв меч в правую руку, Вадим Кузьмич повернулся к зеркалу и принял воинственную позу: – Хорош, да?

– Никогда не видела ничего более несовместимого, – холодно заметила Наталья Михайловна.

– Да? – вскинул брови Вадим Кузьмич. – Полагаю, дорогая, ты ошибаешься.

– Ничуть, дорогой! – весело ответила Наталья Михайловна.

– Ошибаешься!

Вадим Кузьмич приблизился к зеркалу так близко, что эфес глухо ударился о стекло, и пристально посмотрел себе в глаза. Он увидел усталость человека, который вот-вот готов сдаться, которого убивает не работа, а ее бесполезность. Он мог любить ее, отдаваться без остатка, мог сгорать на работе, но это ничего не меняло в его жизни. «Что ж, дорогой товарищ, все идет к тому, что тебе придется принимать решение, – сказал себе Анфертьев. – Да, ты кое-чем рискуешь... Но надо же за что-то и уважать себя... Мужайтесь, гражданин Анфертьев».

– Пошли, Вовушка, водку пить, – сказал Вадим Кузьмич. Не взглянув больше на меч, он отставил его к вешалке, прошел в комнату. Впервые за весь вечер промелькнуло в нем что-то новое, жесткое, и Вовушка, успевший бросить на друга стыдливый взгляд, поспешно отвернулся. Но через минуту видел в глазах Вадима Кузьмича лишь радость встречи и нетерпение – пора наконец начать застолье.

Вряд ли стоит подробно говорить о том, что они пили, в каком порядке, чем закусывали. Содержимое стола, накрытого Анфертьевым, мы знаем: бутылка водки, свекольный салат, жареная картошка, полкило колбасы по два рубля двадцать копеек и банка сайры в качестве холодной закуски и украшения, призванного показать уважение к гостю. Да, и бутылка дикороса в мятой бутылке – Наталья Михайловна поставила ее возле себя, предупре-

див, что будет пить исключительно испанское зелье. Это, дескать, утешит ее и позволит приобщиться к прекрасной стране, в которую одни ездят, а другие лишь мечтают об этом. Вовушка виновато улыбнулся, будто от него зависело, поедет ли Наталья Михайловна на Пиренейский полуостров или останется дома заниматься постирушкой. В несильном свете торшера на груди ее тускло переливались зерна агата. В каждом камешке мерцала красноватая загадка, и казалось, огоньки не стоят на месте, они то собираются по нескольку в одном камне, то вдруг покидают его, оставляя пустым и холодным, то затевают гонку по ожерелью, сверкая обжигающими взгляд искрами.

Наталья Михайловна заставила Вовушку подробно рассказать о его встречах, открытиях и потрясениях. И как раз в тот момент, когда он, покинув гостеприимную Севилью, сквозь оливковые рощи, по солнечному шоссе, мимо замков и рекламных быков отправился по Андалузским горам в Гранаду, из маленькой комнаты вышла Танька и молча протянула Вовушке изображение русского леса, исполненное в испанских красках.

– Ой! – со счастливой улыбкой воскликнул опьяневший Вовушка. – Как здорово! Это же надо! А почему у лешего волосы стали дыбом?

– Это не леший, это пень. Леший вот сидит, в сторонке. А это кикимора болотная. Она пришла к лешему в гости, им очень грустно, потому что у них нет детей, а идет дождь, и никто их не жалеет, – с опасливой доверчивостью пояснила Танька, боясь, что Вовушка чего-то не поймет или, еще хуже, поднимет на смех. Но тот сам запечалился, проникшись невеселой судьбой лешего. Склонив голову, с минуту рассматривал повлажневшими глазами цветные разводы.

– Спасибо. Мне очень нравится. Только почему у лешего нет детей?

– У него были дети, – не задумываясь ответила Танька, – но они баловались, он их отшлепал, они убежали в лес и заблудились.

– И леший никогда их больше не видел?

– Нет, – Танька покачала головой.

– Это очень грустно. Мне его жалко.

– Мне тоже. Поэтому я нарисовала ему кикимору болотную. Они вместе будут жить. А однажды он встретит в лесу своих детей, но не узнает их, потому что они станут большими и даже старыми лешими.

– Боже, какой ужас! – Вовушка схватился руками за голову и непритворно застонал. – Нет, я больше не могу слушать про этого бедолагу!

После этого Таньку увели спать, уложили дружными усилиями, и она заснула у всех на глазах, зажав в руке яркую коробку с фломастерами и пообещав уже заплетающимся языком нарисовать Вовушке картинку повеселее.

Остатки питья и закуски перенесли на кухню, чтобы освежить обстановку и не будить Таньку. И некоторое время, наверное не меньше часа, просидели молча. Вообще-то и Вовушка, и Анфертьевы произносили слова, обменивались житейским опытом, который усвоили из газет, телевизионных передач, из анекдотов, расхожих историй и испытали на собственной шкуре, на шкурах своих близких. Но эти разговоры не затрагивали важного, что заставляло бы их настаивать на своем, бледнеть и злиться, повышать голос и употреблять рискованные слова. Случаи, которыми они потешали друг друга, можно было объединить в некую развлекательную программу вечера, когда все благодушно выслушивают благозвучные благоглупости, зная, что главное впереди.

Наконец Вовушка, отодвинув рюмку, тарелку, вилку, освободив на столе пяточок и поставив на него локоток, посмотрел Вадиму Кузьмичу в глаза и спросил смущенно:

– Ну, хорошо, Вадим, а все-таки... чем живешь?

– Чем живу... – Анфертьев потер ладонями лицо, вздохнул.

– Фотографией он живет! – неожиданно резко выкрикнула Наталья Михайловна, будто давно ждала этого вопроса. – Снимает передовиков, новаторов, рационализаторов, инициаторов, победителей соцсоревнования, снимает токарей, у которых на верстаке стоит флажок, причем насобачился снимать так, что видны и флажок, и станок, и счастливая физиономия, и совершенно потрясающая болванка. И все в одном кадре, представляешь?! Я правильно понимаю? – Наталья Михайловна обернулась к мужу.

– Почти, – отчужденно ответил Вадим Кузьмич. – Не считая того, что токари не работают за верстаками.

– Ну, такая ошибка прощительна. Сути не меняет. Так вот, помимо этих сугубо производственных сюжетов Вадим Кузьмич последнее время смело берется за освоение новых тем – фотографирует похороны директорской бабушки, вступление в пионеры дочки главного инженера, свадьбу сына технолога, прибавление семейства у секретарши, а они за это здороваются с ним и даже улыбаются при встрече, если, разумеется, замечают его. А недавно какой-то двадцать пятый заместитель начальника гаража пожелал сняться для паспорта, а заводскому электрику пришла блестящая мысль оформить стенд по технике безопасности... Я ничего не путаю, Вадим?

– Нет, дорогая, ты ничего не путаешь. Только забыла упомянуть, что мне частенько приходится фотографировать заводские свалки, бракованные болванки для витрины «Не проходите мимо». Среди моих клиентов – заводские пьяницы, мне поручено делать их портреты в значных местах. Наутро, протрезвев, они приносят мне бутылки, трешки, пятерки и просят не вывешивать их мятые мордасы у проходной. И я беру все, что они мне дают, и снимки, естественно, отдаю не «Комсомольскому прожектору», а им самим на память о прекрасно проведенном вечере. Делаю я это не только ради трояков – не нравится мне, когда расклеивают изображения пьяных людей в общественных местах. Если ты имел в виду это, спрашивая, чем я живу, то ответ таков, – Вадим Кузьмич твердо посмотрел Вовушке в глаза.

– А дальше? Что дальше? – Вовушка попытался понять – издевается ли тот над Натальей Михайловной, над ним, Вовушкой, или же над самим собой.

– Дальнейшее состоит из повторения вышеперечисленного, – Вадим Кузьмич вскинул голову, словно подставляя лицо под пощечины.

И Вовушка понял: тому зачем-то нужен сегодняшний позор, который еще болезненнее оттого, что Вадим Кузьмич признается в своем падении старому другу. Зачем? – подумал Вовушка. Почему он позволяет жене говорить о своих унижительных обязанностях, сам находит в них нечто еще более постыдное? Он подстегивает себя, он накануне отчаянного, может быть, безрассудного решения...

– Не промахнись, – сказал Вовушка, чтобы проверить свою догадку.

– Авось!

– Кавалерийскими атаками в наше время ничего не добьешься.

– Чем же можно добиться?

– Терпением. Ежедневными, незаметными постороннему глазу действиями. Но они должны иметь четкую цель, устремленность в будущее. И все, что ты говоришь, думаешь, делаешь, все, что ты ешь, пьешь, с кем ругаешься и с кем целуешься, должно предполагать эту цель.

– Совершенно с тобой согласен, – кивнул Вадим Кузьмич.

– Возможно, есть другие способы, но мне они неизвестны. Или же не под силу.

– Мне тоже.

– Не промахнись, – повторил Вовушка. – Самые неприятные осложнения – это те, о которых даже не догадывался. Люди срываются на неожиданностях. Самых пустяковых. Можно предусмотреть извержение вулкана, но забыть, что при этом изменится цвет неба.

– Или пойти на ограбление и забыть мешок для денег! – с улыбкой подхватил Вадим Кузьмич.

– А ты не хочешь вернуться к...

– Вовушка! – протянула Наталья Михайловна. – О чем ты говоришь! Есть такое понятие – дисквалификация.

– Ты хочешь сказать, что...

– Да, с ним это уже давно произошло...

– Нет, я не хочу вернуться в горное дело, строительство, геодезию, картографию, хотя везде еще мог бы работать. Мне нравится то, чем я занимаюсь.

– Этого не может быть, – проговорил Вовушка. – Хотя, если подумать...

– Не надо! – опять вмешалась Наталья Михайловна. – Не надо думать над тем, как подсластить пилюлю. Давайте называть вещи своими именами. Не всем дано быть удачливыми и сильными, не всем дано ломать обстоятельства, большинство полностью от них зависит. Радовать алкоголиков, показывая им их же физиономии на листочках бумаги, – наверно, и в этом можно находить смысл жизни! – Наталья Михайловна расхохоталась хрипло и зло. Можно сказать, что рассмеялась она горько и безрадостно. Похоже, замечательный портвейн, который она благополучно приканчивала, потягивая маленькими глоточками, не придал ни великодушия, ни любви. Жаль! Разве не для этого мы пьем? Разве не для того мы бегаем за несколько кварталов, чтобы, выстояв очередь, купить бутылку водки, а потом выпить ее спешно и скомканно из чайных чашек, из мензурок и чернильниц, из граненых стаканов, из стеклянных, алюминиевых, керамических пробок, из бумажных кульков, надрезанных перцев, а то и просто из горлышка, закусив коркой хлеба, луковицей, леденцом, снегом, выпить и ощутить в душе прилив великодушия и любви? А иначе зачем пить?

Вовушка и Вадим Кузьмич одновременно почувствовали, что наступил тот заветный миг, когда можно наполнить рюмки. Их руки столкнулись у бутылки, оба понимающе улыбнулись друг другу, и эта мимолетная улыбка объединила их и утешила. А Наталья Михайловна, нанеся свой верный и безжалостный удар, отвернулась горделиво, показав мужчинам превосходный профиль, слегка подпорченный, правда, небольшими бородавками, которые совсем еще недавно выглядели миленькими родинками.

Теперь, когда мы взглянули на Наталью Михайловну с близкого расстояния, можно сказать в упор, подарим ей еще несколько минут нашего внимания. Наталья Михайловна работала в научном институте, где выполняла очень важные исследования, связанные с постоянным разглядыванием в микроскоп мельчайших частиц. Занималась этим Наталья Михайловна не то десять, не то пятнадцать лет и научилась за это время узнавать в пылинках такое, чего не могли разглядеть другие сотрудники, – для нее каждая пылинка обладала выражением лица, характером, достоинствами и недостатками. Более того, Наталья Михайловна могла уверенно говорить об их самочувствии, намерениях, знала, как они себя поведут в том или ином случае, чего хотят. Поговаривали, что и пылинки испытывали к Наталье Михайловне особое расположение, стремились понравиться ей, выдавали кое-какие тайны из жизни микрокосмоса. Способность к пристальному разглядыванию давала надежду ее начальнику стать в будущем доктором, а самой Наталье Михайловне обещала звание кандидата наук. Но для этого ей предстояло собрать воедино результаты всех своих наблюдений, научно объяснить нравы невидимых пылинок, их обычаи, религию, суеверия, их идеологию и политические устремления. Но дело осложнялось тем, что пылинки под взглядом Натальи Михайловны вели себя непредсказуемо, совершали странные поступки, и увидеть в их поведении какие-то закономерности было невозможно. Тут требовался взгляд холодный и бесстрастный, но Наталья Михайловна этого не знала, а пылинки такой взгляд ощущать на себе не желали. Поэтому работа застопорилась, и можно с уверенностью сказать, что до конца нашего повествования Наталья Михайловна не получит звания кандидата наук, а ее начальник не станет доктором. Что делать, все мы к окончанию этой криминальной истории останемся теми же, кем ее начали.

Надо, однако, заметить, что даже отдаленное признание давало Наталье Михайловне право вести себя свободно и раскованно на тридцати метрах ее жилой площади. Кроме того, такое право Наталье Михайловне давали многочисленные разочарования – пожарища, в которых сгорели ее мечты о красивой жизни. А когда сгорают мечты, когда сгорают самые неприкосновенные мечты о нарядах, вечерах в сверкающих залах среди знаменитых людей, свет славы которых освещает тебя и дает смысл твоему существованию, тогда сгорают мечты о просторной квартире на зависть соседям, родне, знакомым, когда отпылают эти пожарища и рухнут обгоревшие сваи мостов, соединявших тебя с чем-то недостижимо прекрасным, ты начинаешь понимать, что на выгоревших местах годами не появляются свежие ростки обновленных желаний. Черные пятна в душе делают человека, может быть, даже сильнее, но эта сила исходит не от доброты и больших возможностей, нет, она от ущемленности и обид. Другими словами, эта сила – от слабости.

Впрочем, мы отвлеклись. Если все это как-то и относится к Наталье Михайловне, то лишь на время пребывания ее на тридцати метрах своей жилплощади. Во всех остальных случаях она не теряла ни самообладания, ни достоинства.

А что есть истинное достоинство?

В чем истинная сила?

Не в том ли, чтобы, наплевав на все, вырвать положенное нам по инструкциям, правам, льготам, гласным и негласным? Так вот, вырвав из чьих-то рук, из чьей-то пасти, из чьего-то кармана, мы проявили силу или слабость? Не сильнее ли тот, кто отказался вырывать и выхватывать?

Но покажите Автору человека, который возьмется твердо ответить, кто из этих двух сильнее!

Наталья Михайловна предпочитала вырывать. Она вырывала билеты на шумные спектакли и выступления Божественной Аллы, приглашение на новогоднюю елку, поздравление от руководства. Когда на кухне ломался кран, она вырывала слесаря из теплой подвальной компании, не дав ему закусить, вырывала у продавца приглянувшийся кусок ветчины, в местное вырывала путевку в лакомое время года. Не ощущая ничего, кроме торжества справедливости, она вырывала последний экземпляр пустячной книги из рук разини-покупателя. О, этот книжный бум в конце второго тысячелетия новой эры! О, эти хрустальные, ковровые, питейные, обойные, кожаные, марлевые, джинсовые бумы! Кто мог устоять, сохранить душевное равновесие? Кому удалось пренебречь этими сокрушительными доказательствами собственной значительности? Ковер, черт подери, полыхающий на стене, свидетельствует о вашей сокрушительной победе над временем и пространством, земными недрами и океанскими глубинами, над алкоголизмом, хандрой, старческим слабоумием, общественным транспортом, но самое главное – над соседями на площадке! И у Натальи Михайловны стена ворсилась алым ковром, второй упругим бревном стоял в углу, дожидаясь своего часа, когда он развернется во всю ширь и затмит не только небесный свод, но и ненавистные рожи соседей, хапнувших по случаю хрустальную крушонницу.

А кто осудит Наталью Михайловну? Кто первым бросит камень? Кто решится упрекнуть ее, когда она скажет, что вынуждена вырывать из чьих-то рук колбасу и бублики, селедку и лифчики, творог для Таньки и носовые платки для мужа, иначе ей ничего не достанется, кто? Автор? Нет! И потом, не ее вина, что наши с вами духовные устремления и жажда справедливости свелись к удовлетворению добычных способностей. Как еще выразить себя, заявить о себе, утвердиться в мире? Как показать силу ума и огонь души? А страсти, что нам делать со страстями, ребята?

Наталья Михайловна давно покончила с молодыми страстями, заставив себя забыть о волнующих встречах, лунных ночах, дальних странах. Попадая в залитые хрустальным светом залы, она терялась, жалась к стенам, искала укрытие за колоннами и спинами. Невинное заме-

чание будущего доктора наук надолго вышибало ее из равновесия, заставляло нервничать и искать собственные промахи. Рассказывая мужу о том, как удалось купить ему подштанники производства Арабской Республики Египет, она волновалась, трещала пальцами, глаза ее сверкали, щеки заливал румянец, слова свои она прерывала счастливым смехом, и Анфертьев, слушая вполуха, любовался ею, как в былые годы на «Чертовом колесе» в парке имени Шевченко.

А что касается пепелищ, то у кого их нет? У кого прошлое без осмеянных и оскверненных мечтаний, разоренных и разграбленных надежд, сгоревших заживо желаний? Но Наталья Михайловна отличалась тем, что и сама всегда помнила о них, и другим не забывала напомнить. Оглядываясь иногда назад, усилием воли поднимая в себе маленькие смерчи из праха былых страстей, Наталья Михайловна испытывала странное наслаждение, остывшие пожарища давали ей ощущение правоты, доставляли сладкую боль незаслуженной обиды, нанесенной людьми глупыми и недостойными.

Можно увлекательно рассказать о воспоминаниях, которым предались старые друзья, о воспоминаниях, составляющих часть их жизни, возможно, они бы всплакнули, окажись у них еще одна бутылка. Интересен был рассказ Вовушки о барах Испании, о старом городе Кордове, о том, как заблудился он в центре Мадрида и тем до сих пор счастлив, о злачных подвальчиках плацца Майор, об оружейных лавках Толедо, о полотнах трагического художника Эль Греко, о королевском дворце неопикуемой роскоши, который тем не менее явно уступает Эрмитажу, и, наконец, об универмагах, толчках, распродажах. О последнем Вадим Кузьмич слушал с иронической улыбкой, чего нельзя сказать о Наталье Михайловне. Прижимая ладошки к раскрасневшимся щекам, охлаждая ими горячие уши, она уточняла, сравнивала, сопоставляла цены, расцветки, модели, зарплаты, фасоны и, наконец насытившись милыми ее сердцу сведениями, обессиленно откинулась на спинку стула, глядя отрешенно и расслабленно куда-то в далекую даль и видя солнечную Испанию и себя там – нарядную, веселую, счастливую. Почти въяве увидела Наталья Михайловна себя на набережной Гвадалквивира – охваченная нетерпением, она торопилась куда-то, где ее ждали, где все о ней спрашивали и волновались, спешила мимо Золотой башни, и оглядывались священники в черных сутанах, останавливались парочки почти неодетые, а владельцы лавок смотрели ей вслед, и была в их глазах безнадежность.

Куда деваться, одно лишь упоминание о мадридском универмаге «Пресъядос» всколыхнуло что-то важное в душе Натальи Михайловны. Она быстро поднялась и с загадочной улыбкой удалилась в комнату, а через минуту появилась в туфлях необыкновенной красоты. Они, правда, слегка жали ноги, особенно правую, а высота каблука заставляла придерживаться за стены, но это не смущало Наталью Михайловну.

– Как? – спросила она, задорно глядя на Вовушку.

– Потрясающе! Вадька! Посмотри на свою жену! Ты видел что-нибудь подобное?

– Конечно, нет, – серьезно ответил Вадим Кузьмич.

Надо сказать, что в Вовушке, измученном постоянной необходимостью скрывать неуверенность, выработалась удивительная способность управлять своими чувствами, настроением, даже выражением лица. Он всегда говорил искренне, прекрасно владея и восторгами, и потерянностью, без особых усилий произносил все приличествующие слова, частенько забывая, когда говорит от своего имени, а когда от имени человека, за которого его принимают.

– Это еще что! – Вдохновленная портвейном и Вовушкиными рассказами, Наталья Михайловна умчалась в комнату и тут же вернулась... Как вы думаете, в чем? В джинсах? В платье типа сафари? В марлевке? Нет. Наталья Михайловна вернулась в ночной сорочке. Крутнувшись на одной ноге, она остановилась перед Вовушкой, уперев руки в бока и выставив вперед ногу с вызовом танцовщицы, исполняющей роль Кармен, той самой Кармен, которая работала в Севилье на табачной фабрике, – не далее как вчера Вовушка разочарованно рассматривал это унылое здание буроватого цвета. – Каково? – Наталья Михайловна нетерпеливо

топнула ножкой. Несмотря на изощренное искусство владеть собой, Вовушка не смог ничего ответить, – смущение овладело им настолько, что он лишь беспомощно посмотрел на Вадима Кузьмича. Как быть, куда деваться?

– Хорошая сорочка, – промямлил он, стараясь не смотреть на просвечивающие груди Натальи Михайловны, на темнеющий пупок, на все те выступы и впадины, которые, будучи расположенными в некой последовательности, создавали срам. – Очень хорошая! – добавил Вовушка уже тверже.

– Какая сорочка?! – возмутилась Наталья Михайловна. – Это платье! Это вечернее платье! Сам понимаешь, носить его на кухне... Хо-хо-хо! – возбужденно хихикнула Наталья Михайловна, увидев собственное тело сквозь складки платья. – Да оно еще лучше, чем я думала!

Молча, с застывшей улыбкой, поднялся и вышел Вадим Кузьмич. Скоро послышался грохот выдвигаемых ящиков, хлопанье дверей, что-то упало, покатилося. При звоне разбитого стекла Наталья Михайловна окаменела и пребывала в этом состоянии, пока на пороге не появился Вадим Кузьмич. Он вошел на кухню с ворохом нижнего белья, штанов, простынь, носков, галстуков, на голове его красовалась пушистая папаха из песка, а может быть, даже из соболя или верблюда, во всяком случае, папаха была большая и пушистая.

– Вот, – сказал Вадим Кузьмич, бросая все на пол. Только дергающиеся губы да бледные щеки позволяли судить о его состоянии. – Я сейчас... Минутку... Разберусь только... Значит, так, это мои штаны. Очень хорошие штаны, я их купил возле Савеловского вокзала совершенно случайно. Но лучше бы я их не покупал, потому что они мне велики и возле коленей болтаются то, чему положено быть гораздо выше. Так... Это полотенце нам достала и втридорога сбыла соседка с первого этажа. Ее дальняя родственница работает не то в ГУМе, не то в ЦУМе. А вот этот галстук тоже непростой. Присутствующая здесь моя жена Наталья Михайловна Анфертьева, в девичестве Воскресухина, простояла за ним больше часа, но надеть его за три года обладания мне не пришлось по причине отсутствия костюма, подходящего к этому галстуку. Между нами говоря, я не уверен, что в мире существует костюм, который подходил бы к этой отвратительной швабре. А вот носки... Этим носкам цены нет – точно в таких уже не первый год ходит директор института, в котором работает вышеупомянутая Наталья Михайловна Анфертьева, в девичестве Воскресухина... Подштанники... Правда, ничего? Египетские. Вот носовые платки, я сморкаюсь в них, когда возникает надобность. А когда надобности нет – не сморкаюсь. Эти чулки с ромбиками, в которых ноги кажутся покрытыми язвами, мы за большие деньги достали...

– Вадим! – звонко сказала Наталья Михайловна. – Прекрати сейчас же! Ты меня слышишь? Я кому сказала – прекрати!

– Прости, дорогая, – Вадим Кузьмич невинно посмотрел на жену, оторвавшись от наволочки в цветочках. – Ты о чем?

– Прекрати! – На этот раз в ее голосе, как ни прискорбно об этом говорить, послышались истерические нотки.

– Видишь ли, дорогая, я просто осмелился последовать твоему примеру, – промолвил Вадим Кузьмич с хамской вежливостью. – Я показываю нашему общему другу Вовушке некоторые приобретения последних лет, чтобы он не подумал, не дай Бог, будто мы с тобой лыком шиты, будто нам надеть нечего и мы живем хуже других. Вовушка все так и понял, верно, Вовушка?

– Если ты не прекратишь... Если ты не прекратишь... – Наталья Михайловна круто повернулась, всколыхнув прозрачным платьем производства нейтральной Австрии кухонный воздух до самых укромных уголков, где у нее хранились картошка, чеснок, свекла и лук, обвела взглядом стены в поисках не то нужного слова, не то предмета, который не жалко запустить в бестолковую голову Вадима Кузьмича.

Положение спас Вовушка. Он подошел к Наталье Михайловне, осторожно погладил по щеке, по волосам и очень грустно посмотрел в глаза. Наталья Михайловна, поразмыслив секунду, решила, что сейчас лучшее – расплакаться у Вовушки на плече. Так она и поступила. Новоявленный дон Педро вздрогнул, ощутив некоторые выступы ее тела, но самообладания не потерял.

– Не надо так, – бормотал Вовушка. – Так не надо. Нужно любить друг друга, уважать, жалеть... И все будет хорошо. Вы еще молодые, у вас родятся дети... Их надо воспитывать, они вырастут хорошими людьми, членами общества, станут приносить пользу...

Растроганная этими словами, Наталья Михайловна рыдала навзрыд, а Вадим Кузьмич задумчиво рассматривал на свет свои почти новые трусики в горошек.

А закончить рассказ о встрече давних друзей лучше всего, пожалуй, фразой, которую произнес гость поздней ночью, когда Вадим Кузьмич укладывал его на раскладушке.

– Какая же у тебя напряженная, нервная жизнь, – сказал Вовушка, стесняясь оттого, что высказывает суждение о другом человеке. – Я бы так не смог.

– Думаешь, я могу? – вздохнул Вадим Кузьмич. – Так никто не может... А живем. И ничего. Даже счастливыми себе кажемся. А может, и в самом деле счастливы, а? – с надеждой спросил он.

Вовушка не ответил. Он спал, и по губам его блуждала улыбка – он снова шагал по залитым солнцем каменным улочкам Толедо, пересекал острую тень собора и входил в маленькую лавочку. Он знал, что сейчас увидит в углу меч с алой рукоятью. Миновав Ворота Солнца, он шел к нему через весь город, и счастье наполняло все его тело, покалывало электрическими разрядами. В облаке озона, легкий, почти невесомый, он входил, скорее, даже вплывал в лавку и сразу направлялся в угол, где, он это знал наверняка, стоит длинный меч с алой рукоятью, кованым эфесом и с чудищами на лезвии. Вовушка приценивался, денег ему не хватало, и он снова высыпал в горсть хозяину полкармана значков с алыми знаменами и золотыми буквами.

Продолжим.

На целую главу мы приблизились к концу, невеселому концу, да и бывают ли они веселые! В схватках с соблазнами и хворями, в схватках с успехами, а они частенько обладают большими разрушительными силами, нежели самые страшные болезни, мы неизбежно теряем боевой пыл, устаем, старимся и... Печально, но это надо знать с самого начала, чтобы ценить то, чем владеем сегодня, – свое мнение, своих близких, свои маленькие радости и слабости. Ценить и не пренебрегать ими ради того, что, возможно, получим завтра.

Утром уехал Вовушка с чемоданом и мечом под мышкой. Деловито и холодно, будто под звон хирургических инструментов, выпила кофе и умчалась на работу Наталья Михайловна, к своим пылинкам, которые заждались ее, измаялись и уж не знали, наверно, что думать. Скорбно собралась в детский сад Танька, понимая, что нет в мире сил, которые избавили бы ее от этой повинности. Уже от двери она посмотрела на Анфертьева долгим взглядом – ее синие глаза светились из полумрака прихожей невероятной надеждой, но Вадим Кузьмич лишь беспомощно развел руками и уронил их.

– Что делать... Танька, что делать... Я тоже ухожу на работу. И дома никого.

– А ты закрой меня на ключ. И я буду одна. Давай так?

– Весь день одна в пустой квартире?!

– А что... Буду рисовать, посуду помою... Пластинки послушаю... Давай, а? А маме скажем, что я была в садике, она все равно позже тебя придет...

– А что ты кушать будешь?

– Намажешь мне хлеб чем-нибудь... там картошка осталась... Давай? Ну, пожалуйста!

– Нет-нет-нет! – Анфертьев замахал руками. – Это очень сложно. Вдруг к тебе лешие слетятся, начнут щекотать, волосы драть... Нет! А кроме того, мне придется идти в садик, упра-

шивать воспитательницу разрешить тебе денек побыть дома, а она скажет, чтобы без справки не приходили, и мы с тобой завтра отправимся в поликлинику за справкой, а там очередь, и мы проторчим целый день...

– Пока, – сказала Танька, не дослушав. Поднялась на цыпочки, отодвинула щеколду и вышла, не взглянув на Вадима Кузьмича. Он долго слышал ее горестные шаги по лестнице, а выйдя на балкон, увидел маленькую фигурку дочери – понуро опущенная голова, руки в карманах и консервная банка, которую она гнала перед собой. Танька знала, что отец смотрит на нее с пятого этажа, но шла не оборачиваясь.

– Ни пуха! – крикнул Вадим Кузьмич, не выдержав.

Так и не оглянувшись, Танька вынула руку из кармана и помахала ею над головой – дескать, слышу, знаю, спасибо, до вечера. Вот она вошла в калитку детского сада, присоединилась к детям, таким же сонным и недовольным. Вадим Кузьмич нашел взглядом воспитательницу. Она стояла в сторонке и предавалась вялой утренней болтовне с такой же девахой из соседней группы. Танька подошла к дощатому сараю, поковыряла пальцем столб, выкрашенный шефами из воинской части в маскировочный зеленый цвет, потом постояла у какого-то странного сооружения, сваренного из толстых железных прутьев, подняла желтый лист и принялась внимательно рассматривать его бледные прожилки.

Как Вадим Кузьмич умывался, брился, собирался на работу, как дожевывал остатки ужина, читать не менее скучно, нежели описывать. Опустим этот невеселый отрезок его жизни. Это непримечательное утро Вадим Кузьмич начисто забыл к обеду. Забудем и мы, тем более что к основным событиям оно не имеет никакого отношения.

Ночью подморозило, и грязные лужи сверкали на солнце, а вмерзшие в них листья волновали Анфертьева, словно обещание праздника. Сунув руки в карманы светлого плаща, подняв куцый воротник, он шагал к метро и знал, уже наверняка знал: это утро в нем останется в виде кадров, которые он без усталости снимал, выхватывая отражения школьников в пузырьчатых лужинках луж, яркие куртки малышей, которых родители растаскивали по садам и яслям, ворону на мусорном ящике, темную очередь пожилых женщин, выстроившихся у дверей еще закрытого магазина, лестницу метро, соскальзывающую в освещенное подземелье, с визгом уносящиеся в темноту голубые вагоны, москвичей, вырванных из теплых постелей всеильными законами бытия...

Есть люди, предпочитающие пользоваться исключительно парадными подъездами. Идут ли они к себе домой, относят жалобу в контору, явились на работу – норовят пройти не какими-то там закоулками, дворами, проходами и проездами, нет, идут центральными улицами, пересекают площади в самом широком месте, шагают величаво, будто под ними не серый асфальт, а ковровая дорожка. Такие люди ценят себя, относятся к себе с уважением, прислушиваются к своему мнению. Рискнув, можно предположить, что эти граждане самолюбивы и тщеславны. Они знают, чего хотят в ближайшем будущем и в более отдаленном, им известны слабости своего начальника, и они никогда о них не забывают, не упустят случая воспользоваться ими, их не устраивают ни должность, ни зарплата... Ну, и так далее.

Нетрудно быть еще смелее, но это уже ни к чему, тем более что сказано все это лишь для того, чтобы в конце концов пояснить: Анфертьев к таким людям не относился. Он терпеть не мог ритуала предъявления удостоверения в проходной завода, хотя там мог любезно раскланяться с директором товарищем Подчуфариним, перекинуться ласковым словом с его заместителем Квардаковым, напомнить о причитающемся отпуске, премии, отгуле. Избегал Анфертьев пользоваться и вспомогательной проходной по той простой причине, что располагалась она метров на двести дальше, нежели щель в заборе, которую он облюбовал несколько лет назад. Этот неприметный лаз был скрыт от бдительных глаз вахтеров и охранников зарослями клена, от щели по ту сторону забора вела не асфальтированная дорожка, огороженная

портретами передовиков производства, а милая его сердцу уютная тропинка, свободно петляющая между деревьями.

Пройдя сквозь замерзшие за ночь листья клена, протиснувшись в щель между кирпичным столбом и бетонной плитой, Вадим Кузьмич оказался на заводском дворе среди посаженных во время апрельских субботников деревьев. Сейчас все осыпалось, шуршало под ногами и тревожило, и приходила грусть, но не гнетущая, а какая-то желанная. Анфертьев отдался ей целиком и полностью, как выражался директор завода Геннадий Георгиевич Подчуфарин.

В этом способе проникновения на завод Анфертьева привлекала недозволенность. А кто из нас удержится, чтобы не совершить нечто запретное, но не очень опасное для общества и нравственности! Ах, как хочется иногда выкинуть какое-нибудь отчаянное коленце, шало оглянуться, хихикнуть про себя и нырнуть за угол! Когда раздавалась трель вахтерского свистка, Анфертьев не останавливался, а, наоборот, припускался наутек, петляя между деревьями, словно опасаясь пальбы из короткоствольных карабинов. В заводоуправление он вбегал запыхавшийся и счастливый...

Вы наверняка замечали превращения, происходящие с нами каждое утро по дороге из дома на службу. Куда деваются наши остроумие, раскованность и свобода суждений об устройстве миров и государств, о народонаселении Китая и связанной с ним зерновой проблеме, о мировой революции и сроках ее проведения, о продовольственной программе и возрождении Нечерноземья, о летающих тарелках, пришельцах, о пальцах Розы, взгляде Джуны, заблуждениях Ажажи... Куда это все девается? Что происходит в тот неуловимый миг, когда мы переступаем порог родного завода, конторы, редакции?

Нет-нет, поймите меня правильно, наша осанка не теряет достоинства, лица сохраняют значительность, но как далек смысл наших слов от того, что мы отстаивали полчаса назад за завтраком! Но и это не самое страшное, что может произойти с человеком за колдовской служебной дверью. Черт с ними, с убеждениями! Беда, когда мы сами меняем свой знак на противоположный и начинаем послушно восхищаться тем, над чем только что смеялись, поносим то, что совсем недавно вызывало в нашей душе искреннее благоговение. И того, кто не сумел перестроиться так же быстро и убедительно, мы клеймим последними словами, вытаскиваем на товарищеский суд, а то и на суд куда более высокого пошиба. Так нельзя, это нехорошо. Вещи, которыми ты гордился по дороге на работу, недопустимо превращать в посмешище, надев служебные рукавники.

Однако вернемся к Анфертьеву.

В конце концов, все здесь говорится о нем, ради него. И как бы далеко ни уходили в своих суждениях, мы неизменно будем возвращаться к Вадиму Кузьмичу. Вокруг него вертятся все наши мысли и опасения. Сам он еще не догадывается о том, что выкинет в ближайшее время, но мы-то знаем! Однако всему свое время. Пока же будем считать установленным, что Вадим Кузьмич избегал парадных подъездов и центральных проходных с их отработанным ритуалом опознавания, они давили на него, а несолидная щель в заборе позволяла сохранить хотя бы видимость независимости. Чтобы уже не возвращаться к этому, давайте согласимся с тем, что у каждого из нас есть своя щель в заборе, а у кого ее нет, того можно попросту пожалеть. Щель может принять вид собаки, авторучки, девушки, знакомого валуна на южном побережье Крыма и даже обернуться самогонным аппаратом. И такие случаи известны.

Так выпьем за ту небольшую отдушину, которая в трудную минуту позволяет нам оставаться... Впрочем, нет. Отставить. Никаких тостов. Безнравственно пить в то время, когда весь наш народ включился в борьбу с пьянством. Давайте просто согласимся с тем, что каждому желательно иметь свою щель в заборе. И пусть каждый сам решает, что он разумеет под забором, а что – под щелью.

В конце тропинки, по которой в данный момент шествовал Анфертьев, располагалось заводоуправление – двухэтажное здание, облицованное голубоватой плиткой, которую пода-

рил директору Подчуфарину начальник какого-то строительного управления в благодарность за ремонт двух экскаваторов. Голубой цвет выглядел легкомысленно, да и характеру Геннадия Георгиевича не подходил – директор был крут, упрям, немногословен. Анфертьев про себя посмеивался над директорскими галстуками – темными, с узлами на резинках, захлестывающихся где-то у затылка. Зато воротнички всегда были безукоризненно свежи, но тесноваты, и от этого у Подчуфарина выработалась устойчивая привычка: время от времени он с усилием поводил головой из стороны в сторону, будто освобождаясь от невидимых пут, мешающих ему жить.

Первый этаж заводоуправления занимали вспомогательные службы, вроде снабженцев, диспетчеров автохозяйства, тут же, в большой, сорокаметровой комнате, размещалась бухгалтерия. Протиснувшись между столами учетчиков, счетоводов, бухгалтеров, вы окажетесь перед маленькой картонной дверью фотолаборатории. Рядом за такой же дверью, в такой же камерке громоздился архив бухгалтерских документов – полки, заваленные папками, скоросшивателями, связками скучнейших бумаг, разобраться в которых ничуть не проще, чем в шумерской клинописи. Третью камеру занимала главный бухгалтер Зинаида Аркадьевна.

Человеку, который хоть раз побывал в жилищно-коммунальной конторе, управлении городскими банями или в нотариальном учреждении, представить бухгалтерию нетрудно. Десяток разношерстных столов из прессованной стружки, счеты, папки, подоконники, заваленные бумагами и горшками с цветами. Эти цветы были последним прибежищем возвышенных порывов женщин, проводивших здесь годы, десятилетия жизни. От постоянных раздумий о заводском бюджете, платежах, чековых книжках лица их стали настороженными, взгляды подозрительными, души недоверчивыми. Но такими женщины становились лишь переступив порог бухгалтерии, а за пределами завода опять превращались в хлопотливых домохозяек, мечущихся между магазинами и на ходу обменивающихся важными сведениями: куда завезли картошку, как достать масла, хватит ли молока, если мотануться в дальний магазин, где, по слухам, оно было еще полчаса назад.

Помимо столов здесь стояли шкафы с документацией, в углу непоколебимо возвышался громадный Сейф, отлитый, похоже, еще в прошлом веке. Своей тяжестью он перекошил все заводоуправление – со стороны было видно, что крыло, где располагалась бухгалтерия, примерно на полметра ушло в землю. Внутри пол кое-как выправили, но само здание так и оставалось перекошенным. В стене возле Сейфа была прорублена дыра в коридор, и через нее кассир Света Лунина выдавала управленцам зарплату каждое второе и семнадцатое число.

Когда Вадим Кузьмич вошел в бухгалтерию, все ее обитатели уже собрались и усаживались поудобнее, готовясь заняться финансовыми делами завода.

– Бодрое утро! – громко приветствовал всех Анфертьев.

– Здравсти, – без подъема ответили ему несколько женщин.

– Поздравляю вас с праздником, дорогие товарищи!

– С каким таким праздником? – хмуро на ходу спросила главный бухгалтер, направляясь к своему кабинетику. Была она женщина полная, можно даже сказать, очень полная, но подвижная, быстрая в движениях. Она постоянно помнила о чрезмерной своей полноте, и от этого настроение у нее всегда было подпорченным.

– Ну, как же, Зинаида Аркадьевна! – воскликнул Анфертьев. – Такая прекрасная погода! Желтые листья на деревьях стали полупрозрачными и светятся на солнце... – Анфертьев чувствовал, что Зинаида Аркадьевна вот-вот перебьет его, что в своих владениях она не вынесет этой осенней крамолы, и торопился нанизывать слова на некий шампур, сверкающий солнечным лучом в сумрачной комнате бухгалтерии. – Да, листья, покрытые изморозью, стали похожи на сотенные купюры...

– Мне бы ваши заботы, Вадим Кузьмич! – бросила Зинаида Аркадьевна. В самом величии по имени-отчеству слышалось пренебрежение, преувеличенными почестями она как бы

ставила человека на место. Никто не осмелился поддержать Вадима Кузьмича в его восторгах, а лишь когда Зинаида Аркадьевна скрылась за своей дверью и заворочалась, заворочалась в тесной клетушке, натываясь на стол, стул, звеня графином – любила главбух выпить утречком стакан-другой холодной воды, – только Света Лунина подала голос:

– Да, погода сегодня сказочная! – В ее словах прозвучало извинение за невежливость начальства.

– Как жизнь, Света? – Вадим Кузьмич протиснулся мимо Сейфа и, сжавшись, сумел усесться рядом с Луниной – это было его обычное утреннее место.

– Кое-как, Вадик, – Света неуловимым движением руки поправила волосы, одернула манжеты белой блузки, которую куда вернее назвать мужской рубашкой, только размер у нее был небольшой, скорее всего сорок четвертый.

– Ничего не болит?

– Нет, спасибо. А у тебя?

– Что-то беспокоит, но что именно, никак не могу понять. У тебя бывает такое?

– Редко. Обычно я всегда знаю, что меня беспокоит, – Света улыбнулась, и Анфертьев невольно залюбовался ее лицом. Легкий пушок на щеках светился, Вадим Кузьмич не удержался и несколько раз щелкнул внутренним своим затвором и навсегда спрятал в себя изображение Светы. Потом он часто будет рассматривать эти портреты – темный свитер, белые уголки воротника, мягкую волну волос, смущенный взгляд девушки, которая, конечно же, понимала, что Анфертьев смотрит на нее куда внимательнее, нежели требовалось для невинной беседы, впрочем, это видели все обитатели бухгалтерии.

– Перестань рассматривать меня, – сказала Света не очень строго, скорее просяще.

– Я не рассматриваю, я люблюсь, – прошептал Анфертьев заговорщицки. Он быстро коснулся пальцами рукава свитера, белой манжеты, свежего маникюра...

– Все проверил? – спросила Света. – Везде порядок?

– Сносный. А у меня в последнее время что-то ноет, ноет, – Вадим Кузьмич в рассеянности похлопал ладонью по прохладному боку Сейфа, по его облезлой стенке, выкрашенной когда-то под мрамор. Краска во многих местах отвалилась, обнажив железную сущность этого угрюмого предмета первой необходимости любой бухгалтерии.

– Влюбиться тебе надо, – посоветовала Света, раскладывая на столе ведомости.

– Уже, – чуть слышно ответил Анфертьев, но это слово, которое он скорее выдохнул, чем произнес, услышали все женщины. Оглянувшись, Вадим Кузьмич увидел улыбающиеся, еще не изувеченные денежными расчетами лица.

– Кто же она? – хмуро спросила Зинаида Аркадьевна. Никто не заметил, как появилась она в проеме своего кабинета – широко расставленные ноги, мощная квадратная фигура, тяжелое, неподвижное лицо.

– О! Зинаида Аркадьевна! Так ли уж важно, кого я назову. – Вадим Кузьмич поднялся, ухватившись за медное кольцо Сейфа – этот штурвал, послушный тонким пальцам Светы. Он покрутил его вправо, влево, подергал, но без ключа кольцо оставалось неподвижным. – Так ли уж важно, кого я назову, – повторил Анфертьев, – если в любом случае вы меня осудите. – Подобрав полы плаща, он протиснулся между столами к своей каморке.

Зинаида Аркадьевна неплохо относилась к Анфертьеву, почти без задержек подписывала чеки на оплату проявителей, закрепителей, бумаги, пленки и прочих нехитрых фотопокупок. Иногда, правда, подписывать отказывалась, и никто на заводе, включая самого Подчуфарина, не мог заставить ее поставить свою малюсенькую, заверченную подпись. Анфертьев понимал, что его фотозаботы никак не влияют на производственные показатели завода и главному бухгалтеру удобно показать неограниченную финансовую власть именно на нем, на фотографе. Если на важных платежах директор все-таки настаивал, то беды фотографа его не беспокоили, и он позволял Зинаиде Аркадьевне вести себя с ним как ей заблагорассудится.

Анфертьев не обижался на главбуха, понимал – так принято. Опять же препоны, чинимые Зинаидой Аркадьевной, позволяли ему ссылаться на трудности, нехватку препаратов, пленки, еще чего-то очень важного. Даже для директора эти причины были вполне уважительными, и, поворчав для видимости, объявив Анфертьеву выговор, тоже для видимости, он успокаивался, прекрасно понимая, что не от качества фотографий зависит прочность его директорского положения. А Зинаида Аркадьевна знала, что зловредностью она оправдывает промахи не только Анфертьева, но и Подчуфарина, являя пример истинной жертвенности. Да-да, своим квадратным телом главный бухгалтер закрывала бреши, образованные директорской нерасторопностью, нехваткой металла и горючего, безграмотным проектом, сверхсрочным заказом... Да что там говорить, все мы знаем, из чего складывается производственная жизнь, от чего она зависит. На любом предприятии должен быть человек, на которого можно валить грехи. Здесь таким человеком была Зинаида Аркадьевна. Что делать, так принято. И не только на заводе по ремонту строительного оборудования, не правда ли, дорогие товарищи?

Поковырявшись ключиком в мохнатой картонной дыре, Анфертьев нащупал пружинку, надавил на нее, и дверь открылась. Вообще-то она открывалась бы и без ключа, стоило лишь слегка нажать на нее, но в камерке хранились кое-какие материальные ценности, и Анфертьев соблюдал заведенный порядок, показывая бухгалтерии повышенную ответственность за вверенное фотооборудование. Войдя в комнату, он тут же закрыл за собой дверь и, прислонившись спиной к стене, постоял с минуту. Потом безошибочно протянул в темноте руку и, нащупав кнопку, включил сумрачный и таинственный красный свет – свет алхимиков, гаишников и фотографов.

Автору иногда кажется, что у фотографов несколько иная жизнь, нежели у всех нас, непонятная и в чем-то даже крамольная. Их действия над белым листом бумаги отдают колдовством, и возникает на листе совсем не то, что они фотографировали, что все мы видим при ясном свете дня. Они получают изображение, необходимое им для каких-то своих целей. Кто знает, не водятся ли они с лешими, нетопырями, василисками и прочей нечистью, кто знает, о чем шепчутся они в красноватых сумерках, царящих в их кельях, какие заклинания твердят, какие силы вызывают...

Возьмите в руки фотоаппарат, наведите на человека, поймите его в видоискателе, в перекрестье нитей, добейтесь резкости... Есть? Теперь коснитесь спусковой кнопки, слегка надавите на нее... Ну что? Чувствуете мистическую дрожь в пальцах? Это он. И холод в груди, будто она пробита, будто сквозняк в вашей груди, будто запродали вы уже свою душу, и несутся, несутся сквозь нее черти на бесовский шабаш! А посмотрите на человека, которого вы собрались фотографировать, – он не в себе, он мечется, не зная, как стать, каким боком повернуться, куда взглянуть. Он понял, что вы заодно с потусторонними силами и его будущее зависит от вас, от того, в какой миг вы нажмете эту дьявольскую кнопку. И потомки будут судить о нем по тем картинкам, которые вы изготовите в качающихся ванночках при красном свете, отгороженные от глаз людских плотными стенами и черными шторами. Да что там потомки, его друзья, его жена и дети скажут, взглянув на эти чертовы снимки: «Так вот ты какой, оказывается, а мы-то думали...» Или рассмеются, поняв его пустоту и глупость, а может, ужаснутся, увидев на снимках человека, готового переступить через что угодно...

Расстегнув плащ и отбросив в стороны концы пояса, Вадим Кузьмич сел на тускло мерцающий в полумраке стул, невидяще скользнул взглядом по черному увеличителю, по бликам красного стекла, по банкам, в каждой из которых таилась странная жизнь, таились судьбы, и в его власти было выпустить их, дать проявиться, свершиться, утвердиться. Но сейчас Вадим Кузьмич был далек от всего этого – он пристально рассматривал свою ладонь, помнившую холод ручки Сейфа, небольшого массивного колеса, вытертого миллионами касаний человеческих рук. И плечо, которым он оперся о Сейф, тоже хранило память о железном сундуке,

изготовленном сто лет назад ему на погибель. Неужели бублик медного колеса станет штурвалом его судьбы!

– Разберемся, – сказал вслух Вадим Кузьмич, поднимаясь и сбрасывая плащ. – Разберемся.

За дверью слышались бухгалтерские голоса, и Вадим Кузьмич чутко улавливал, как постепенно исчезала из них доверчивость, уступчивость, он уже с трудом узнавал голоса женщин, с которыми только что здоровался. С непонятной яростью они отстаивали содержимое Сейфа, будто заранее знали, что их хотят обмануть, что сюда только затем и приходят, чтобы подsunуть фальшивую бумагу и выдурить деньги. И просителя они встречали недовольно и опасно, радовались, уличив его в незнании установленного порядка, в отсутствии важной подписи, печати, пометки, находя повод отправить обратно. А едва за ним захлопывалась дверь, возбужденно хвалились друг другу своей бдительностью и непреклонностью, возмущались невежеством приехавшего за сотни километров человека, не сообразившего позвонить заранее. И это все при том, что им не составляло никакого труда разрешить пустячную заявку росчерком пера.

Как ни старался Анфертьев оправдать этих женщин, объяснить их поведение особенностями работы – не мог. Но сейчас возникло в нем новое ощущение, ему показалось, что эти женщины оправдывают в чем-то его самого, снимают часть его собственной испорченности, если не настоящей, то будущей.

– Ну ты даешь! – Вадим Кузьмич усмехнулся и еще раз осмотрел в красном свете свою ладонь, так хорошо запомнившую холод Сейфа.

В этот момент в картонную дверь лаборатории раздался частый стук. Колотили, по всей видимости, связкой ключей, и каждый удар отдавался в душе Анфертьева болезненно и унижительно. Человек по ту сторону перегородки был уверен, что сюда можно стучать и так, можно колотить по двери каблуками ботинок или, взяв с любого стола счеты, и их пустить в дело – хозяин комнатухи все стерпит, ему положено стерпеть, поскольку такое к нему обращение самое естественное.

Анфертьев не торопясь повесил плащ на невидимый гвоздик у двери. Стук продолжался. Анфертьев уже наверняка знал – к нему стучится заместитель директора Борис Борисович Квардаков. Он сейчас улыбался, и все женщины улыбались ему в ответ, не понимая унижения Анфертьева, все происходящее было для них небольшим развлечением, каковые нечасто случаются в разлинованной по клеткам конторской жизни.

О, этот стук в дверь!

По этому стуку вы без труда узнаете соседа, милиционера, страхового агента! Человека, который пришел требовать долг, вы никогда не спутаете с тем, кто пришел просить в долг, вы всегда отличите долгожданного друга от настырного сослуживца. Но, похоже, Автор опоздал поделиться своими наблюдениями, поскольку во всех квартирах Москвы и области давно стоят электрические звонки. И звонят они, отражая не характер гостя и его успехи, а скорее степень износа данного звонка, исправность проводки и кнопки.

Анфертьев откинул жиденький крючок, распахнул дверь и лучезарно улыбнулся навстречу хлынувшему свету. На пороге стоял Квардаков – молодой, лысоватый, в чем-то мохнато-клетчатом, зеленовато-коричневом. Борис Борисович частенько напоминал простоватым сотрудникам бухгалтерии, что в прошлом он имел успехи в прыжках. Куда прыгал Квардаков, откуда, зачем, на какую высоту, глубину, длину – никто не знал, а на все попытки уточнить эти данные Борис Борисович нахально улыбался. Рассказывали, что он прыгал с парашютом, другие настаивали на том, что Квардаков никогда парашютом не пользовался, надеясь на силу ног и врожденную смекалку. Кто-то утверждал, что в молодости обстоятельства вынудили Квардакова выпрыгнуть из окна третьего этажа, и не помогли ему тогда ни смекалка, ни мышцы ног. Но в конце концов все согласились с тем, что прыжки его носили в основном администра-

тивный характер. Об этом доложили Квардакову доброжелатели, и он улыбнулся, как человек, которому должность позволяет смотреть сквозь людей и даже сквозь финансовые документы. Известны случаи, когда большие люди не только смотрят, но и видят сквозь различные предметы, могут читать газеты сквозь живого человека, правда, в основном заголовки, мелкий текст различают немногие.

– О! Борис Борисович! – воскликнул Анфертьев. – Какая радость! Добрый день! Как себя чувствуете?

– Спасибо, – настороженно ответил Квардаков. – Неплохо чувствую, правда, с утра покалывало, но это вас не касается.

– Где покалывало? – участливо спросил Анфертьев.

– Где надо! – пресек Квардаков неуместное любопытство фотографа. – Почему не открывали? Можно подумать, что вы печатаете там не снимки, а деньги!

– О, если бы я печатал деньги, то вы, Борис Борисович, осмелились бы лишь поскрестись в эту дверь и то по предварительной договоренности. И я не уверен, что услышал бы ваше поскребывание.

– Да? – Квардакову требовалось время, чтобы понять услышанное, но он сразу чувствовал, как к нему относится человек, и сейчас в нем что-то обидчиво напряглось. Будь он покрыт густой шерстью, все в бухгалтерии обратили бы внимание, как она поднялась у Бориса Борисовича на загривке.

– Вы, наверное, что-нибудь хотели? – заботливо спросил Анфертьев, прерывая квардаковские раздумья.

– Вас вызывает директор. Срочно к Подчуфарину.

– А, – понимающе закивал Анфертьев на манер болванчика производства Китайской Народной Республики. – Это он вас послал? Спасибо. Я сейчас.

– Меня никто никуда не посылал! – строго произнес Борис Борисович. – Если надо, я сам кого угодно пошлю. Куда угодно.

– И правильно сделаете! – одобрил Анфертьев.

Квардаков подозрительно посмотрел на фотографа, уловив двусмысленность в его словах, осторожно оглянулся – женщины улыбались. В старые добрые времена, когда Квардакова покрывала дикая нечесаная шерсть, она в таких случаях поднималась у него гривкой вдоль всей спины.

– О правильности моих действий судить не вам, Вадим Кузьмич! Запомните это раз и навсегда!

– Что вы, что вы! – засуетился Вадим Кузьмич. – Конечно! Только так! И никак иначе! Разве я могу судить о ваших действиях? Да и кто может о них судить? Кто? Чтобы судить, надо иметь основание, предмет, результат! А у меня ничего этого нет. Да и у кого они есть? У кого? – Анфертьев на секунду замер перед Квардаковым, разведя руки в стороны и выпучив глаза таким образом, что на его лице возникла не то растерянность перед большим человеком, не то начальная стадия помешательства. Покосившись в сторону, Анфертьев заметил, как литые черты главбуха слегка дрогнули и на губах ее возникла еле заметная улыбка. Зинаида Аркадьевна была единственным человеком на заводе, который вслух осмеливался назвать Квардакова бездельником. Он и в самом деле второй или третий год путался у всех под ногами, расспрашивая о детишках и родителях, всячески показывал заинтересованность в плановых показателях предприятия, а сам – о, хитрец! – сам все это время ожидал перевода директором на какой-то заводец вроде этого. Поговаривали, что его прислали поосмотреться, пообтесаться, пообтесаться. Подчуфарин не торопился загружать его делами, понимая, что ни к чему хорошему это не приведет, и поручал Квардакову в основном курьерские обязанности, посылая в трест с отчетом, в редакцию с ответом на жалобу, в школу на встречу с выпускниками, в милицию вызволять загулявшего механика, токаря, слесаря.

Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Анфертьев заметил, что за ним по пятам неотступно следует Борис Борисович, – он тоже торопился к директору, опасаясь, что без него произойдет что-нибудь такое, о чем ему положено знать и высказать мнение.

– Вас тоже директор вызвал? – поинтересовался Анфертьев, пропуская мимо себя прыгающего через ступеньки Квардакова. Тот, не отвечая, пронесся вверх.

Вадим Кузьмич понимающе улыбнулся: когда он войдет, Борис Борисович будет сидеть рядом с директорским столом, закинув ногу на ногу, поставив локоток на угол стола, зажав в пальцах сигаретку, которую он к тому времени еще не успеет раскурить, и всеми своими членами, глазками, пальцами, поигрывающим носком туфли будет показывать причастность. А потом, размяв наконец свою худосочную сигарету – уж коли Квардаков не понравился нам с первого взгляда, почему бы его сигарету не назвать худосочной? – так вот, раскурив свою несчастную сигарету, он будет сквозь дым смотреть на Анфертьева, слушать разговор с директором, задавать существенные вопросы, уточнять подробности, всячески следить за тем, как бы этот лодырь и проходимец Анфертьев не обвел директора вокруг пальца и не выскользнул сухим из воды.

Кстати, вы никогда не замечали, с каким поистине звериным чутьем лентяи рыщут в поисках себе подобных, находят их и безжалостно разоблачают? Собственно, многие годами ничего не делают и добиваются положений, званий, признаний, занимаясь только одним – осуждают лоботрясов. Наверно, не самая худшая деятельность: ведь кто, как не бездельник, сразу учует, унюхает, узнает бездельника? И пусть себе распознает, пусть клеймит. Кто-то разоблачит его – опять хорошо. Одно плохо – у них совершенно не остается времени на работу. Ну да ладно, кому надо разберется.

Понимая, что дел у Квардакова в директорском кабинете нет никаких, что прошмыгнул он туда с единственной целью вставить свое лыко в разговор, Вадим Кузьмич входит не торопясь, решив побеседовать с секретаршей, упитанной молодой женщиной с зычным голосом и мохнатыми ногами. Ее звали Анжела Федоровна. Время от времени по заводскому репродуктору она властно вызывала к директору то начальника участка, то бригадира, буфетчицу, водителя персональной «Волги», а то и простого рабочего, подавшего Подчуфарину какое-нибудь прошение, да не осмеливающегося напомнить о себе. Причем делала это Анжела Федоровна настолько толково и часто, что весь прилегающий район Москвы был хорошо осведомлен обо всем, что делается на заводе, как продвигается выполнение плана, кому выделяется квартира, кто погорел на пьянке, кто загулял в командировке с недостойной личностью. Домохозяйки района, выключив домашние репродукторы и уйдя от мировых и всесоюзных событий, предавались новостям заводским – от них несло жизнь, страстью, все происходило сию минуту. То есть документальность и здесь одерживала верх над художественным вымыслом. Знамение времени, ничего не поделаешь. Продолжим.

Анфертьев поздоровался с Анжелой Федоровной, любимицей директора и его первой советчицей, прошелся по приемной, выглянул в окно, убедился, что на заводском дворе сносный порядок, сел на подоконник.

– Что директор? – спросил он как бы между прочим.

– Еще не сняли, – ответила Анжела Федоровна сипловатым, сорванным басом, не прекращая ни курить, ни печатать на машинке.

– А что, могут снять?

– Как пить дать! – прорвались слова сквозь дробь машинки.

– За что? – удивился Анфертьев для виду, поскольку хорошо знал мрачный юмор секретарши.

– За что угодно. За развал работы, за хорошую работу...

– За хорошую разве снимают?

– Снимают, хотя бы для того, чтобы повесить! – Анжела Федоровна усмехнулась, скривившись от дыма, ползущего от сигареты прямо ей в ноздри и в глаза.

– А меня еще не снимают?

– Фотографов вообще не снимают. Их гонят. В шею. Когда нет сил терпеть.

– Да? – переспросил Анфертьев с застывшей улыбкой, но Анжела Федоровна уже забыла о нем.

Поначалу Анфертьев задумывался: почему любой бригадир, мастер, шофер, не говоря уже о заме, почитает за надобность поставить его на место, ткнуть носом в обязанности – дескать, фотограф ты и грош тебе цена в базарный день. Но вскоре перестал это замечать, утвердившись в спасительном пренебрежении к самому себе. Анфертьев открыл, что изгалялись над ним как раз те, кто больше страдал от вышестоящих товарищей.

Окончательно Анфертьев все понял, услышав, как приехавший на завод какой-то пятый зам начальника управления последними словами материл его любимого директора Геннадия Георгиевича Подчуфарина за недостаточное внимание к наглядной агитации – плакатам, лозунгам, транспарантам, щитам и призывам, которые должны были радовать глаз рабочего человека, куда бы этот глаз ни упал и где бы этот рабочий ни оказался. Оказывается, еще на подходе к заводу, за несколько кварталов он должен видеть приветственные слова, которые настраивали бы его на высокопроизводительный труд. Подчуфарин, налившись краской, или, лучше сказать, покраснев от нахлынувших чувств, в белоснежной рубашке с тесным воротником и при плохом галстуке, смиренно склонившись над столом, записывал указания вышестоящего гостя. А тот, поглядывая на случайно заглянувшего фотографа с несколькими снимочками в черном конвертике, продолжал неторопливо костерить директора. Анфертьев все порывался уйти, чтобы избавить отца родного Подчуфарина от позора, но гость останавливал его, извинялся перед ним, перед фотографом, за то, что прервал важную его беседу с директором, и снова принимался за Геннадия Георгиевича. А когда все-таки убрался, уехал, укатил на черной блестящей машине с уймой фар и подфарников, Анфертьев, стоя у окна директорского кабинета, смотрел, как Подчуфарин говорит благодарственные слова высокому гостю, улыбается вслед, с прощальной грустью машет рукой, а потом, круто повернувшись, направляется в подъезд. Вадим Кузьмич представил, как он поднимается по лестнице, идет по коридору, глядя прямо перед собой, не смея взглянуть на стоявших вдоль его пути сотрудников, поскольку не уверен, что совладает со своим лицом, со своим голосом. В кабинет директор вошел молча, и в глазах у него была обесчещенность.

– Геннадий Георгиевич, а вы не могли послать его к чертовой матери? – спросил Анфертьев.

Подчуфарин сел за стол, не глядя, взял конвертик со снимочками, повертел в пальцах и бросил одно слово: «Идите!» И Анфертьев вышел, понимая: директора покорило сочувствие фотографа. Главный инженер – нормально, главбух – тоже куда ни шло, даже зам, этот пустой человечиска, коротающий годы в ожидании, пока где-то на каком-то заводике помрет от возраста и болезней тамошний директор, даже Квардаков мог выразить директору сочувствие. Но фотограф?! Как знать, может быть, сочувствие Анфертьева унизило директора куда больше, чем высокопоставленный мат. Осознав это, Анфертьев не подумал о Подчуфарине ничего плохого, он лишь усмехнулся, вскинул бровь, но где-то в нем образовалось место, которое потом заполнили мысли злые и беспощадные.

Через несколько дней, вручая директору конверт с фотографиями, сделанными на заводской спартакиаде, Анфертьев, не слушая восторгов, непочтительно перебил Подчуфарина:

– Геннадий Георгиевич, а вам не кажется, что на вверенном вам предприятии лишь один человек работает более или менее прилично?

– Кто же это?

– Фотограф Анфертьев.

Подчуфарин с интересом посмотрел на Вадима Кузьмича, потом на зама: каково, мол? Еще раз перебрал снимки, небрежно сдвинул их в сторону.

– Может быть, – ответил он. – Очень может быть. Но ведь ваше усердие никак не отражается на качестве продукции, на плановых показателях. Верно?

Анфертьев собрал снимки, сложил в черный конверт, поднял глаза:

– Я могу идти?

– Вы мне не ответили, – напомнил ему Подчуфарин.

– Вы о чем? Отражается ли мое усердие на качестве снимков или снимки на качестве моего усердия? Благодаря моим кадрам вы забыли о трудностях с кадрами, – пошутил Анфертьев. – На завод пришли неплохие специалисты... Но это все, конечно, чепуха. На плановых показателях больше всего отражается усердие машинистки. Анжелы Федоровны.

– Что вы хотите сказать? – встрепенулся Квардаков, уловив в словах Анфертьева второе дно.

– Не больше того, что вы поняли, Борис Борисович.

– Вы намекаете на то, что мы занимаемся очковтирательством? – Зам сурово нахмурился, готовый дать достойный отпор наглецу.

– Упаси Боже! – Анфертьев, как дурак, замахал руками. – Я только хотел сказать, что одиночные усилия кого бы то ни было мало отражаются на конечных результатах.

– Даже усилия директора?! – Квардаков поперхнулся, ужаснувшись своему вопросу.

– Разве что директора, – улыбнулся Анфертьев так, будто лет двадцать проработал на дипломатическом поприще в недружественных нам странах, предпочитающих капиталистический путь развития.

– Ваши слова ко многому обязывают, – заметил Подчуфарин многозначительно. В его тоне более зрелый человек мог бы ощутить нечто вроде угрозы, но Анфертьев не пожелал.

– Не возражаю! – ответил Вадим Кузьмич.

И с тех пор никакие ссылки на срочность, важность задания не могли заставить его сдать фотографии, не доведенные до последней стадии совершенства. Только отглаженные, обрезанные скальпелем под линейку, отобранные в строгом порядке, только такие снимки ложились на стол Подчуфарину.

Анфертьев в разговоре с директором не зря поиграл словом «кадр». Дело в том, что действительно благодаря его усилиям заводец был известен гораздо более других, мощных, современных предприятий. Уступая настоятельным требованиям жены, Вадим Кузьмич стал посещать редакции газет и предлагать снимки на производственные темы. Снимки его были лучше тех, которые делали газетные фотографы, измороженные сроками, починами, прожорливостью газет. И когда ответственный секретарь товарищ Ошаткин перебирал тощую папку со снимками, решая, чем бы украсить первую полосу, чем порадовать читателя, истосковавшегося по волнующим новостям, чаще всего его безутешный взгляд останавливался на снимках Анфертьева. И завод по ремонту строительного оборудования опять оказывался на первой полосе, в центре внимания, на вершине успеха. Лучшие специалисты, сбитые с толку снимками Анфертьева, бросали свои предприятия и почитали за честь быть принятыми на завод, а потом с недоумением оглядывались по сторонам, видя не больно благоустроенные цехи, захудалое оборудование, неразбериху в производственных цехах.

Ответственный секретарь Ошаткин не единожды заводил разговор с Анфертьевым, предлагая ему должность фотокорреспондента. Вадим Кузьмич не отказывался, благодарил за доверие, но просил подождать – дескать, на заводе производственные трудности. Ошаткину нравилось, что Анфертьев так любит предприятие, уважает общественные интересы. Он полагал, что эти качества сделают Анфертьева незаменимым человеком в газете. Однако проходил месяц за месяцем, Вадим Кузьмич продолжал радовать читателей отличными фотографиями, но подавать заявление об уходе с завода не торопился. И была тому важная причина, о которой не

знала ни единая живая душа на всем белом свете. Причина все больше овладевала мыслями Анфертьева и на сегодняшний день овладела настолько, что, сам того не желая, во все свои дела, слова и устремления он невольно вносил поправку на эту самую причину. Тайна томила его душу, мешала покинуть завод и отдаться почетным обязанностям фотокорреспондента, которые...

А между тем Анфертьев когда-то уже работал в газете, но не любил вспоминать об этом. Оставив специальность горного штурмана, шахту, поселок и трехсменную работу, он приехал в родной город, где, казалось, воздух будет и кормить его, и одевать, и радовать. В первый же свободный день Анфертьев понес свои снимки в молодежную газету и тут же был принят на должность фотокорреспондента. Но продержался недолго. И не потому, что не получались у него передовики производства в сумрачном освещении цеха или же не умел он увести в нерезкость завалы металлолома, нет, дело было в другом – Анфертьев не выдержал гонки. Спекся. Через несколько месяцев спекся. Каждый день давать ненасытной газете фотографии с металлургических, шинных, сборочных и еще каких-то важных в народном хозяйстве предприятий, с утра мчаться на заводские проходные, выпрашивать пропуска, наводить на растерянного усталого человека объектив и, щелкнув несколько раз, спросив напоследок фамилию, тут же нестись в редакцию проявлять пленку, потом с мокрого, еще прилипающего к пальцам негатива печатать снимок и сырым нести к секретарю, убеждать, что снимок хорош, что на нем лучший сборщик шин всех времен и народов, потом самому бежать в типографию с высыхающим на ходу снимком и там доказывать, что снимок прекрасен, а когда наконец все позади, когда снимок на полосе, нужно срочно созвониться с заводом и, описывая узоры на рубашке передовика, уточнять его фамилию, проценты, тонны, метры и часы, которыми он радуется родное предприятие и все наше народное хозяйство.

Около полугода смог Анфертьев выносить такую жизнь, пока видел смысл в этой суетной и бесполой деятельности. И наступил день, когда Вадим Кузьмич не нашел в себе сил идти на съемку. Побродив по коридорам редакции, он зарядил фотоаппарат и отправился в город. Обошел Солянку, улицу Разина, полюбовался на церкви, сиротливо притулившись к громаде гостиницы «Россия», впервые за многие годы пересек Красную площадь, по улице Горького поднялся к Тверскому бульвару. В тот день он снимал детишек у фонтана, продавщицу мороженого, кокетничающую с постовым милиционером, старушку, тщетно пытающуюся сдать в приемный пункт целую авоську пустых бутылок, двух отчаянно ругавшихся водителей столкнувшихся «Жигулей». Когда на следующее утро он показал снимки редактору, тот долго любовался ими, некоторые даже поместил у себя под стеклом на столе и наконец посмотрел на Анфертьева:

- Это конец или начало?
- Конец, – вздохнул Анфертьев.
- Откровенно говоря, я надеялся, что вы продержитесь дольше.
- Я тоже так думал.
- И что же, нет никаких сил терпеть?

Анфертьев молча покачал головой. Никаких.

Редактор помолчал, потрогал предметы на столе, еще раз перетасовал снимки.

– Ну что ж... Не забывайте нас, приносите, если что будет.

– Если что будет – принесу.

– Даже такие, – редактор постучал пальцами по снимкам. – Чего не бывает, вдруг удастся что-нибудь дать.

На этот раз вздохнул Анфертьев и вышел с виноватой улыбкой. Тогда, почти десять лет назад, вряд ли он сумел бы четко ответить, почему уходит из газеты. Понимал, что больше работать в ней не сможет, – а почему? Над этим не задумывался. Надоело? Устал? Разочаро-

вался? Да, но главное было в том, что Вадим Кузьмич обладал непростительно большим уважением к своему настроению.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.